

МАСТЕРА УЖАСОВ



ТОМАС ЛИГОТТИ

НОКТУАРИЙ • ТЕАТР ГРОТЕСКА

Мастера ужасов

Томас Лиготти

Ноктуарий. Театр гротеска

«Издательство АСТ»

2018

УДК 821.111
ББК 84(7Coe)

Лиготти Т.

Ноктуарий. Театр гротеска / Т. Лиготти — «Издательство АСТ»,
2018 — (Мастера ужасов)

ISBN 978-5-17-114361-9

В город присылают нового градоначальника, и вскоре размеренный быт местных жителей превращается в настоящий кошмар. Подлинная тьма проникает в офисные будни обыкновенных клерков, проклятая фабрика начинает производить монстров, а на Землю приходят боги – только люди, вызвавшие их, даже не представляют, с чем имеют дело и какую метаморфозу им предстоит увидеть. Древние силы и безумие космического ужаса, люди, стоящие перед подлинным мраком вселенной, и бездна, что смотрит на каждого, читающего эти тексты – все это «Ноктуарий» и «Театр гротеска», две книги Томаса Лиготти, одного из самых необычных и оригинальных писателей из тех, что сейчас работают в жанре ужасов.

УДК 821.111

ББК 84(7Coe)

ISBN 978-5-17-114361-9

© Лиготти Т., 2018
© Издательство АСТ, 2018

Содержание

Ноктуарий	5
В темнейший час ночи: несколько слов о понимании странной прозы	5
Часть первая	8
Медуза	8
На языке мертвых	19
Чудо сновидений	26
Ангел миссис Ринальди	32
Часть вторая	38
Тсалал	38
Безумная ночь искупления	54
История о будущем	54
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Томас Лиготти

Ноктуарий. Театр гротеска

Ноктуарий

Посвящается Дэйву и Леоне

В темнейший час ночи: несколько слов о понимании странной прозы

Что считать *странным*, никому объяснять не надо. Узнаем мы об этом на самых ранних этапах жизни. Самый первый ночной кошмар, самый первый горячечный бред посвящают нас во всемирное, но при этом глубоко законспирированное общество, пожизненно напоминающее о себе при столкновениях со странными вещами всевозможных форм и личин. Для кого-то они – сугубо свои, личные. Есть и такие, что признаются всеми, вне зависимости от веры в них. Они всегда с нами, просто ждут особого момента, чтобы мы о них вспомнили, а моменты такие – у каждого свои.

Вот что я хочу донести до вас: странные чувства – фундаментальный и неизбежный жизненный опыт. И, как всякий опыт такого рода, он в конечном итоге находит свою форму художественного выражения. Одна из этих форм – weird fiction, так называемая «странная проза». Составляющие данное литературное направление истории являются сублимацией наших столкновений с неизведанным. В них все «странное» выставлено напоказ, как в музее, и может быть наглядно изучено.

Давайте рассмотрим простую популярную зарисовку. Одинокий человек вдруг просыпается во тьме и тянется к своим очкам, лежащим на тумбочке. Кто-то из темноты услужливо вкладывает их прямо ему в руку.

По сути, перед нами – костяк огромного количества историй, что призваны бросать читателя в дрожь. Можете эту дрожь принять как должное и перейти к более насущным вещам, можете попытаться лишить картину ее силы, если она обрисована слишком ярко. Но есть и другой путь, по мнению некоторых, – наиболее оптимальный. Можно разумно подойти к рассматриваемой ситуации, открыться, тем самым обеспечивая ей всю полноту воздействия.

Разумеется, преднамеренных усилий тут не требуется. Очень сложно выбросить эту сцену из головы, если прочитана она в подходящее время, при подходящих обстоятельствах. Потом уже разум читателя переполняется мраком той самой комнаты, где пробудился наш персонаж (на его месте, по сути, может оказаться любой из нас). Если угодно, сама голова читателя станет изнутри такой комнатой и весь драматический накал окажется заключен в месте, из которого нет и не будет выхода.

И пусть фабула обнажена до костей – история наша не страдает от нехватки сюжета. В ней присутствует и самое естественное начало, и совершенное действие – середина, ну и занавес, смыкающий мрак над мраком. Есть главный герой и есть антагонист, а их встреча, при всей краткости, прозрачна в своей роковой природе. Никакого эпилога не требуется, чтобы понять, что человек пробудился из-за чего-то, что поджидало его в пресловутой темной комнате – именно его, никого другого. Странность ситуации, если воспринять ее лицом к лицу, весьма эффектна.

Повторим. Одиноким человек вдруг просыпается во тьме и тянется к своим очкам, лежащим на тумбочке. Кто-то из темноты вкладывает их прямо ему в руку.

Следует напомнить о древнем тождестве между словами «weird» и «fate»¹ (достаточно вспомнить классический рассказ Кларка Эштона Смита «Судьба Авузла Вутоквана» (The Weird of Avoosl Wuthoqquan), в котором злой рок главного героя предсказан нищим и осуществлен голодным чудовищем). Эта связка синонимов настаивает на возрождении старой (если не старейшей из всех) философии, а именно – фатализма.

Осознать, пусть даже ошибочно, что все шаги героя вели к такому, условно говоря, предназначению, понять, что он столкнулся лицом к лицу с тем, что, похоже, ждало его все это время, – необходимая основа, опорный пункт странности. Конечно, фатализм давно уже вышел из моды как философская концепция жизни, уступив трон неопределенности и модели «открытого» бытия. Тем не менее определенные испытания, выпавшие на долю человека, могут воскресить в нем древний, иррациональный взгляд на вещи. Невзгоды эти всегда поражают своей странностью, своим отступлением от обыденного хода жизни и зачастую вызывают единодушный протест: «Почему я?!» (будьте уверены, это именно возглас возмущения, а не вопрос). Перед нами – крик человека, ошеломленного подозрением, что он на самом деле стал игрушкой судьбы – специфической, будто бы сделанной на заказ и определенно «странной» судьбы. Что место и время столкновения были ему словно назначены.

Без сомнения, подозрение такое иллюзорно. И иллюзию эту создает тот же самый материал, что облекает плотью скелет всех странностей. Я называю ее материей снов, видений и неслыханных встреч. Именно она, цепляясь за кости странного, принимает разнообразные формы и прикрывается многочисленными личинами. Для того чтобы иллюзия судьбы как можно прочнее укоренилась, она должна быть связана с чем-то необычным, чем-то, что не считается частью нашего экзистенциального плана, хотя в ретроспективе и не может быть рассмотрено никак иначе.

В конце концов, не задумываемся же мы о странном, когда вдруг видим на тротуаре крупную банкноту? Нет, мы наклоняемся за ней и без задних мыслей кладем в карман. И даже если для нас это не какое-то повседневное явление, все равно оно не окрашено в роковые цвета, в палитру экстраординарности. Но предположим на мгновение, что есть у этой банкноты необычная способность притягивать богатство. Жизнь ее носителя вдруг кардинально меняется, и обыденный ход вещей ложится на непредвиденный доселе курс, грозящий совершенно новыми, неизведанными опять-таки, опасностями. Тот, кому выпала удача заметить на тротуаре вышеупомянутый объект и претендовать на него, осознает в конце концов: его заманили в хитроумную ловушку и его судьба уже решена. Сложно представить, что для него все могло быть иначе. Бывшие жизненные перспективы канули в туман, а что впереди – теперь неясно. Что он на самом деле знал о пути, по которому шла его жизнь, до того, как наткнулся на сей денежный знак? Очевидно, очень мало. И даже ныне – что он знает о таких вещах, с тех пор как они приняли мелодраматический оборот? Еще меньше, чем раньше, что становится все очевиднее, когда герой наш оказывается жертвой маньяка-нумизмата (возможно, черно-книжника), решившего заполучить свой артефакт обратно. Ведь тогда и только тогда наш иска-тель-хранитель обретет неудобное знание о неподдельно странном, неподдельно таинственном аспекте собственного бытия: о необычайном факте Вселенной и о своем пребывании в ней. Парадоксально, но эта милая небылица может наилучшим образом продемонстрировать общее затруднительное положение нашей расы.

Основной эффект «странной прозы» – ощущение того, что можно назвать «жуткой нереальностью»: жуть вселяет худой перст рока, указующий на гибель, а «нереальными» здесь

¹ «Fate» в переводе с английского – это судьба, тогда как «weird» в форме существительного переводится в том числе и как «предопределение» или «предзнаменование» (здесь и далее примечания переводчика).

выглядят причудливые одежды судьбы, что никогда не спадут и не обнажат истину. Двойное чувство жуткой нереальности достигает пика в загадке, которая составляет суть всякой стоящей «странной истории». Именно это качество определяет цену «странностей» в литературе.

По определению, «странная история» зиждется на тайне, которую не разгадать вовеки – она остается верна странному опыту, переживаемому исключительно в воображении автора и служащему его единственным легитимным источником. Пусть от тайны, безусловно, и будет веять «кладбищенским духом» – устрашает она как своей нереальной природой, своей дезориентирующей странностью, так и своими связями с великим миром смерти. Такая повествовательная схема удачно контрастирует с реалистичной «историей с неизвестными», в которой персонажу угрожает знакомая, часто сугубо физическая гибель. Независимо от того, какие узнаваемые свидетельства и явления представлены в конкретной странной истории – начиная с традиционных привидений и заканчивая наукообразными ужасами современности, – в ее основе всегда остается своего рода бездна, из коей является монстр. И в эту бездну мы не можем последовать, чтобы монстра изучить или понять. Тайна, что не желает утрачивать своего очарования, должна остаться тайной – нам не следует знать, что именно взяло очки с тумбочки и вложило их в руку проснувшегося. Тут – крайний случай и, пожалуй, наиболее «чистый» образец сюжета, кочующего из одной странной истории в другую.

Еще один, более выдающийся пример превосходной странности – «Нездешний цвет» Говарда Лавкрафта. В этом рассказе обыденный мир разрушает вторгающаяся из космоса сила неизвестного происхождения и природы, населяющая темный колодец и оттуда, из темных его глубин, словно безликий тиран, управляющая всеми извивами сюжета. Когда же, ближе к финалу истории, она покидает сцену, ни персонажи, ни читатель не узнают о пришельце чего-то такого, что не знали в начале. Хотя последнее утверждение не является верным на все сто процентов – безусловно, о «Цвете» мы узнаем следующее: контакт с этим чужаком, спустившимся со звезд, вовлекает в неизбывный странный кошмар, на который не выйдет закрыть глаза, о котором не получится забыть.

Есть и другие примеры, иллюстрирующие «странность» в литературе полно и ярко: «Песочный человек» Э. Т. А. Гофмана или «Порез» Рэмси Кэмпбелла, – но суть уже очевидна: воистину странное как в творчестве, так и в жизни, несет минимум плоти на своих костях – достаточно, чтобы вызвать некоторые вопросы и натолкнуть на жуткие ответы, но не так много, чтобы протянутые к нам костистые персты показались уже привычной рукой повседневности.

По общему признанию, экстраординарное начало как вершитель судьбы и глашатай неизбежности смерти – это довольно нарочитое и часто вульгарное средство изображения человеческого существования. Тем не менее weird fiction стремится не столкнуть нас с рутинными сценариями, коим большинство следует на жизненном пути, но пробудить в нас некое изумление, переживаемое нами все реже: трепет пред необъяснимостью мира. Ради возвращения этого чувства в современную, беспредельно жуткую и без подобных надстроек жизнь нужно пробудиться для странного так же, как человек пробуждается в вечном аду своей короткой истории, стряхивает притупленную во сне чувствительность и тянется к неизведанному в темноте. Теперь, даже без очков, он действительно может видеть.

И, быть может, прозреем и все мы – пусть даже в краткий миг погружения в манящее многоцветье странной прозы.

Часть первая Этюды в сумраке

Медуза

I

Прежде чем выйти из комнаты, Люциан Дреглер записал в блокнот несколько разрозненных мыслей.

Зловещее, ужасное никогда не предает: оно всегда оставляет нас в состоянии, близком к просветлению. И только это жуткое внутреннее озарение позволяет нам ухватить суть мира полностью, включая все вокруг, так же как тяжелая меланхолия дает возможность без остатка овладеть самим собой.

* * *

Мы можем спрятаться от ужаса только в его сердце.

* * *

Возможно, я самый уникальный из всех визионеров, так как искал расположения Медузы – моей первой и самой старой собеседницы, не принимая во внимание всех остальных? Может, я заставил ее откликнуться на свои сладкие речи?

Утешившись тем, что эти обрывочные мысли благополучно попали на страницу, а не остались в ненадежных закутках памяти, где смазались бы или просто исчезли, Дреглер натянул старое пальто, запер за собой дверь комнаты и, миновав несколько лестничных пролетов, вышел из дома через черный ход. Угловатый узор улиц и переулков был обычным маршрутом, по которому он время от времени ходил в некий ресторан, но сегодня Люциан торопился и выбрал не столь извилистый путь. Его ждал старый знакомый – они не виделись давным-давно.

В помещении царил мрак, постоянные посетители сидели за каждым столиком. Дреглер остановился около двери и принялся медленно и как-то рассеянно снимать перчатки, краем глаза отмечая слабые ореолы света, струящегося от ламп тусклого металла, которые висели на стенах так далеко друг от друга, что их лучи не пересекались, поглощенные тьмой. Постепенно мрак рассеивался, обнажая скрытые им формы: сверкающий лоб с мерцающей вспышкой очков в проволочной оправе под ним; держащие сигарету унизанные кольцами пальцы, сонно лежащие на столе; ботинки сверкающей кожи, слегка повернувшиеся в сторону Дреглера, когда тот осторожно прошел внутрь помещения. В глубине зала ступеньки спиралью вились на следующий этаж, больше похожий на подвешенную платформу, маленький выступающий балкон, чем на часть здания. Площадку обрамляли перила, сделанные из того же проволочного, хрупкого на вид материала, что и лестница. Вся конструкция напоминала какие-то кустарные леса. Дреглер медленно поднялся вверх.

– Добрый вечер, Джозеф, – сказал он человеку, сидящему перед необычайно высоким и узким окном.

Взгляд Джозефа Глира ненадолго замер на перчатках, которые его собеседник бросил на стол.

– Ты носишь все те же перчатки, – отозвался он, потом поднял глаза, улыбнулся: – И то же самое пальто!

Глир встал, мужчины обменялись рукопожатиями. Потом оба сели, и Джозеф, показав на пустой бокал, спросил Дреглера, по-прежнему ли тот пьет бренди. Люциан кивнул, старый знакомый заверил, что сейчас все будет, и, перегнувшись через перила, показал два пальца кому-то скрывающемуся внизу во мраке.

– Это будет просто сентиментальная беседа, Джозеф? – поинтересовался, уже сняв пальто, Дреглер.

– Отчасти. Подожди, пока нам не принесут напитки, тогда сможешь поздравить меня по-настоящему.

Люциан снова кивнул, рассматривая лицо Глира без каких-либо видимых признаков любопытства. Бывший его коллега еще по университетским годам, Джозеф всегда питал слабость к мелкотравчатым интригам на академическом и личном поприще, к ритуалам и протоколам, ко всему заранее сформулированному и имеющему прецедент в прошлом. Еще он любил мелкие секреты, пока в них был посвящен ограниченный круг лиц. Например, в спорах – не важно о чем, философии или старых фильмах, – когда дискуссия уже накалялась, Глир с видимой радостью заявлял, что вполне осознанно поддерживает какую-нибудь невыносимо абсурдную точку зрения. Сознавшись в своей извращенности, он затем помогал и даже превосходил оппонента в старании разрушить свою позицию, как всем казалось, для вящего торжества бесстрастного разума. Но вместе с тем Дреглер прекрасно знал, чего добивался Глир. И хотя подыгрывать ему было не всегда легко, только это тайное понимание доставляло Люциану радость во время подобных умственных соревнований, так как

ничто нуждающееся в доводах не стоит спора, так же как ничто, умоляющее верить, не стоит веры. Реальность и нереальность, влюбленные друг в друга, живут бок о бок в страхе, единственной «сфере», которая действительно имеет значение.

Возможно, именно скрытность составляла основу взаимоотношений этих двух людей: напускная в случае Глира и полная со стороны Дреглера.

И вот теперь Джозеф нагнетал так называемый саспенс. Дреглер смотрел в высокое узкое окно, за которым голые ветки вяза призрачными движениями изгибались в лучах прожекторов, висящих на противоположной стене. Но каждые несколько секунд Люциан поглядывал на Глира, черты которого совершенно не изменились: те же губы, напоминающие формой лук Купидона, рыхловатые щеки, похожие на булki, маленькие серые глазки, сейчас почти утонувшие в мясистом лице, слишком часто искажающемся от смеха.

Женщина с двумя стаканами на пробковом подносе встала около стола. Пока Глир платил за бренди, Дреглер поднял один и лениво отсалютовал им. Официантка бросила на него короткий невыразительный взгляд. Потом она ушла, и Люциан, сделав вид, что ничего не знает, произнес:

– За твою грядущую или уже прошедшую свадьбу, какой бы она ни была.

– Надеюсь, эта любовь – на всю жизнь. Спасибо, Люциан.

– Это который раз у тебя, пятый?

– Четвертый, если помнишь.

– Ну да, с памятью у меня так же неважно, как и с наблюдательностью. На самом деле, я ожидал увидеть кое-что блестящее у тебя на пальце, хотя следовало обратить внимание на блеск в глазах. В любом случае где же обручальное кольцо?

Глир потянулся к вороту рубашки и вытащил изящную цепочку, на которой висел маленький розовый бриллиант в простой серебряной оправе.

– Новые веяния, – спокойно сказал он и засунул украшение обратно. – Современные люди должны им следовать, я так думаю, но брак все равно остается браком.

– За Средние века, – ответил Дреглер с бесцеремонной скукой в голосе.

– И людей средних лет, – откликнулся Глир.

Какое-то время мужчины сидели молча. Люциан еще раз окинул взглядом полутемное помещение, где несколько столов освещались единственной лампочкой на всех. Большая часть скудных лучей отражалась от стены, обнажая концентрические круги узловатой древесины. Дреглер спокойно пригубил бренди, он выжидал.

– Люциан. – Наконец Глир решил перейти к делу, неожиданно заговорив шепотом.

– Я слушаю, – уверил его Дреглер.

– Я позвал тебя сюда не только выпить за мою свадьбу. Прошел уже год, знаешь ли. Хотя вряд ли тебе это интересно.

Люциан ничего не сказал, приободряя Глира своим заинтересованным молчанием.

– С тех пор, – продолжил Джозеф, – мы с женой уволились из университета и отправились в путешествие по Средиземноморью. Вернулись пару дней назад. Не хочешь еще выпить? А то с этим бокалом ты разобрался довольно быстро.

– Спасибо, нет. Пожалуйста, не отвлекайся, – вежливо попросил Дреглер.

Сделав еще один глоток, Глир вздохнул:

– Люциан, я никогда не понимал твоей одержимости той, кого ты называешь Медузой. Да и, прямо скажем, мне все равно, хотя я тебе никогда этого не говорил. Но я могу ускорить твои поиски – думаю, твоей деятельности подходит это слово, – причем, хочу подчеркнуть, без каких-либо намеренных усилий с моей стороны. Тебя еще интересует эта тема?

– Да, но у меня нет денег на путешествие в Грецию, в отличие от тебя и твоей жены. Ты это мне хотел предложить?

– Нет. Тебе даже не понадобится выезжать из города, и в этом, как ни странно, вся прелесть. Очень сложно объяснить, как я узнал то, что узнал. Подожди секунду. Вот, возьми.

Глир вытащил предмет, который заранее припрятал где-то во тьме, положил его на стол. Дреглер воззрился на книгу. Она была переплетена в ткань цвета ржавчины, золотые буквы на корешке выпцвели. Из оставшихся фрагментов Дреглер сложил название: «Электродинамика для начинающих».

– Что это такое? – спросил он Глира.

– Что-то вроде входного билета, сама по себе она бессмысленна. Это звучит смешно – уж мне ли не знать! – но я хочу, чтобы ты отнес книгу вот в этот магазин, – пояснил Джозеф, положив визитку на обложку, – и спросил хозяина, сколько он за нее даст. Я знаю, ты ходишь по таким магазинам время от времени. Этот тебе известен?

– Так, бывал пару раз, – ответил Дреглер.

Карточка гласила: *«БРАЗЕРС БУКС»: РЕАЛИЗУЕМ РЕДКИЕ И АНТИКВАРНЫЕ КНИГИ, ПОКУПАЕМ БИБЛИОТЕКИ И КОЛЛЕКЦИИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР КНИГ ПО ЭЗОТЕРИКЕ И ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. ОСНОВАТЕЛЬ И ВЛАДЕЛЕЦ БЕНДЖАМИН БРАЗЕРС, УЧАСТНИК МАНХЭТТЕНСКОГО ОБЩЕСТВА ПРОДАВЦОВ ФИЛОСОФСКИХ КНИГ.*

– Мне говорили, что владелец магазина знает тебя по твоим книгам, – добавил Глир каким-то двусмысленным тоном. – Думает, ты – истинный философ.

Дреглер пристально посмотрел на собеседника, его длинные пальцы машинально вертели маленькую визитку.

– Ты хочешь сказать, что Медуза – это книга? – поинтересовался он. Джозеф уставился в стол, потом перевел взгляд на старого знакомого:

– Я не говорю тебе ничего такого, чего не знаю наверняка, а знаю я немного. Насколько мне известно, она может быть всем, чем ты ее представишь или уже представлял. Конечно, ты

можешь принять к сведению эту неполную информацию и распорядиться ею, как тебе заблагорассудится. Ты, я уверен, так и поступишь. Если же хочешь знать больше, чем я, то сходи в этот магазин.

– Кто попросил тебя передать мне это? – спокойно спросил Дреглер.

– Об этом я лучше умолчу, Люциан. Не хочу, как говорится, испортить сюрприз.

– Очень хорошо, – подвел итог Дреглер, вытащил бумажник, положил в него визитку, потом встал и уже начал надевать пальто. – У тебя все? Не хочу быть грубым, но...

– Да ты, я смотрю, не изменяешь своим привычкам. Но мне нужно сказать тебе еще кое-что. Пожалуйста, сядь. И выслушай меня. Мы знакомы не первый день, Люциан, и я знаю, как много Медуза значит для тебя. Как бы ни повернулось дело, не надо винить меня за это. Ты бы и так захотел, чтобы я все тебе рассказал. Я же прав?

Дреглер снова встал и засунул книгу под мышку.

– Да, как мне кажется. Но уверен, мы еще увидимся. Спокойной ночи, Джозеф.

– Может, еще по бренди? – предложил Глир.

– Нет, спокойной ночи, – ответил Дреглер.

Отходя от стола, Люциан чуть не ударился о массивную деревянную притолоку, опасно нависшую над выходом в темноте. Он оглянулся посмотреть, не заметил ли Глир эту оплошность. Всего один бокал! Но Джозеф смотрел в другую сторону. Он не отрывал глаз от окна, от переплетенных щупальцев вяза и мертвенно-бледного света прожекторов на стене напротив.

Какое-то время Дреглер бездумно наблюдал за гнущимися под напором ветра деревьями снаружи, прежде чем лечь на кровать, стоявшую в нескольких шагах от окна. Рядом лежал экземпляр его первой книги – «Размышления о Медузе». Он раскрыл ее и стал читать наугад не связанные между собой куски.

Почитатели Медузы, включая тех, кто забивает страницы книг «озарениями» и подобными интерпретациями, – самые отвратительные из жителей Земли, и самые многочисленные. Но многие ли из них понимают это? Возможно, есть некий тайный культ Медузы, но, опять же, кто станет тратить столько времени на изучение, поимку и уничтожение этих существ?

Скорее всего, только мертвецы не состоят в лиге Медузы. Мы, с другой стороны, ее союзники, но всегда против своей воли. Разве может кто-то стать ее попутчиком... и выжить?

Опасность увидеть Медузу нам не грозит. Она должна получить на это наше согласие. Проблемы возникают только у тех, кто знает, что Медуза смотрит на них, и жаждут ответить ей взаимностью. Есть ли лучшее определение отмеченного роком человека: тот, у кого «есть глаза», видящие Медузу, глаза, обладающие собственной волей и судьбой.

О, быть существом без глаз! Великое счастье – родиться камнем!

Дреглер закрыл книгу и поставил ее обратно. На той же переполненной полке, где кожа и ткань терлись друг о друга, стояла толстая папка, забитая бумагами. Люциан стащил ее вниз и, улегшись на кровать, принялся изучать содержимое. С годами дело неимоверно разрослось: оно началось всего лишь с нескольких случайных заметок – вырезок, фотографий, разрозненных отсылок, которые Дреглер копировал от руки, – и превратилось в склад адской интуиции, свидетельство ужасающих совпадений. Предметом каждой строчки в этой нечаянной энциклопедии была сама Медуза.

Некоторые документы относились к разделу «Курьезы», включая комиксы (взятые Дреглером с раскладки в аптекарском магазине), в которых она представляла в образе супергероини, использовавшей свои жуткие способности только для борьбы с не менее жуткими врагами в мире, давно лишенном красоты. Другие проходили под грифом «Не относящиеся к делу». Туда попала вырезка шириной в три дюйма из какой-то спортивной газеты десятилетней давности,

превозносившая трехлетнего жеребца по кличке Мистер Медуза, выигравшего сезон. Была еще и скромная стопка документов, не имевших специального ярлычка, но их Дреглер рассматривал не иначе как доказательства «подлинного ужаса». Особый интерес в разделе представлял большой репортаж без фотографий из какой-то британской желтой газеты – хроника того, как некий мужчина целый год подозревал, что в его жену периодически вселяется демон со змеиной головой. Абсурдная сценка из театра ужасов закончилась обезглавливанием женщины прямо во сне и тюремным заключением безумца.

Самым ненадежным разделом был тот, куда отправлялась псевдоинформация, собранная из разных, не самых надежных распространителей человеческих знаний: всяких любительских «научных» журналов, бюллетеней оккультно-антропологических обществ и публикаций различных центров, изучавших все подряд. Заметки из различных изданий, вроде теософского журнала «Эксцентавр», выпуски которого Дреглер нашел как раз в магазине «Бразерс Букс», шли под рубрикой «Медуза и медузийцы: свидетельства очевидцев и попытки материального объяснения». Например, в одном из первых номеров этого издания опубликовали статью, где рождение Медузы и всего живого на Земле приписывали одному из инопланетных пришельцев. Для них наш мир был чем-то вроде автостоянки или мотеля на пути к другим целям в иных галактических системах.

Такие познавательные находки Дреглер смаковал с угрюмой радостью, особенно заявления высочайших жрецов человеческого разума и души, которые все скопом низводили Медузу до проявлений подсознания, где она служила образом романтической паники. Уникальным среди всех этих экспонатов, так лелеемых Люцианом, был один творческий выплеск человека, который, похоже, шел дорогой Дреглера и *слушал свое сердце*.

«Можем ли мы избавиться, – вопрошал автор, – от той жизненной силы, которую символизирует Медуза? Можно ли такую энергию, если, конечно, она существует, убить, сломать? Можем ли мы выйти на арену собственного существования, топоча как гладиаторы, с сетью и презубцем в руках, а потом бросками и выпадами, рубя и рассекая воздух лезвием, истерзать этого бездушного, отвратительного демона, доведя до мучительного безумия, и в конце концов уничтожить его на радость своим жаждущим смерти нервам, под оглушающие души аплодисменты?» К сожалению, эти слова были всего лишь сарказмом со стороны критика, сочинившего язвительную рецензию на «Размышления о Медузе» Дреглера, когда книга впервые вышла из печати двадцать лет назад.

Правда, Люциан никогда специально не искал обзоры своих книг, и, что самое невероятное и интересное, эта заметка попала к нему, как и все остальные статьи о Медузе, совершенно случайно – более того, произошло это у дантиста. Хотя он прочитал немало старинных трудов и комментариев, касающихся Медузы, ни один из материалов этой достаточно бессистемной папки не попал к нему в ходе обыкновенного исследования. Ни один из них он не получил официально – все вышло непредсказуемо. В общем, эта информация была даром непредвиденных обстоятельств, сугубо неформального подхода.

Но что доказывали эти постоянно попадающиеся на глаза Дреглеру фрагменты разрозненной головоломки? Ровным счетом ничего, являясь побочным эффектом его одержимости Медузой. Естественно, Люциан постоянно замечал на фоне повседневной рутины эпизодические роли любимого персонажа. Это было нормально. Но хотя эти «находки» рационально ничего не подтверждали, они всегда давали пищу не столько разуму Дреглера, сколько его воображению, особенно когда он рылся в своем архиве, посвященном его старейшему спутнику.

Сейчас, лежа на кровати и перебирая бумажки, философ пытался опять пробудить свою фантазию. И сумел, найдя текст, переписанный им как-то в библиотеке из маленькой желтой книжечки «Вещи близкие и дальние». Цитата гласила: *«В самом устройстве мира нет ничего такого, что помешало бы человеку увидеть дракона или грифона, горгону или единорога. Но на*

самом деле никто никогда не встречал женщину со змеями вместо волос или лошадь с рогом во лбу, хотя первобытный человек, скорее всего, наблюдал за драконами, известными науке как птеродактили, и монстрами более невероятными, чем даже грифоны. В любом случае ни одна из этих зоологических фантазий не нарушает фундаментальных основ интеллекта; геральдические и мифологические чудовища не существуют, но причин, по которым они не должны существовать, нет ни в природе вещей, ни в законах разума».

Именно в соответствии с природой вещей Дреглер решил не делать никаких выводов, пока не сможет нанести визит в некий книжный магазин.

II

Ранним вечером следующего дня, после многих сомнений и раздумий, Дреглер вошел в маленький магазин, зажатый между серым и коричневым зданиями. Противоположные стены лавки, забитые книгами, находились друг от друга практически на расстоянии вытянутой руки. На более высокие полки можно было забраться только с помощью очень длинной лестницы, а о книгах, стоящих под потолком, похоже, уже давно забыли. Пожелтевшие номера старых журналов – «Блэквудс мэгэзин», «Спектейтор», американского и лондонского «Меркьюри» – были навалены пухлыми беспорядочными кучами у окна, их мягкие обложки умирали под лучами солнца. Выпавшие листы забытых романов навеки пристали к пятну на полу или, свернувшись, валялись по углам. Дреглер заметил у себя под ногами страницу 202 из «Второй лестницы», старого рассказа ужасов, и ощутил какое-то сардоническое сочувствие к безызвестной паре глаз, которая, предвкушая разгадку этой мистической истории, столкнется вместо финала с неожиданным тупиком. Потом его заинтересовало, сколько тысяч этих томов уже никогда не откроют. Естественно, в их число входил и принесенный им текст по электродинамике. Он прижал книгу к себе, на краткое мгновение почувствовав абсурдное желание защитить ее. Дреглер винил Глира за это ощущение, подозревая, что стал участником некоего фарса, спланированного масштабно, но довольно грубо.

Из-за низкого прилавка, находящегося в дальнем конце магазина, за ним наблюдал обрюзгший человечек с очками в проволочной оправе. Когда Дреглер подошел к стойке и положил на нее книгу, продавец, Бенджамин Бразерс, поднялся со своего места.

– Вам помочь? – спросил он. Его громкий голос чем-то напоминал подчеркнуто формальное, но уже ставшее привычным обращение старого слуги.

Философ кивнул, смутно припомнив, как заходил сюда пару лет назад. Он положил книгу на прилавок, просто чтобы привлечь к ней внимание, и произнес:

– Скорее всего, эта книга не стоит даже тех усилий, которые мне понадобились, чтобы принести ее сюда.

Мужчина вежливо улыбнулся.

– Вы правы, сэр. Старые тексты вроде этого уже никому не нужны. Сейчас там, в подвале, – добавил он, махнув рукой в сторону маленькой двери, – у меня буквально тысячи таких книг. Ну и множество всяких других вещей, знаете ли. «Букселлерс трэйд» называет мой магазин «Сокровищницей Бенни». Но вас, кажется, интересует только *продажа*.

– Ну, раз уж я здесь...

– Чувствуйте себя как дома, доктор Дреглер, – промолвил услужливо Бразерс, когда Люциан направился к лестнице. Услышав свое имя, философ остановился и, кивнув продавцу, стал спускаться по ступеням.

Теперь он вспомнил об этом подвальном хранилище и о трех длинных пролетах, которые нужно было преодолеть, чтобы добраться до него. Книжный магазин на улице был не более чем грязным маленьким чуланом по сравнению с нагромождениями внизу: пещерой хлама, наваленного кучами и холмами, с разбухшими рядами полок, забитых фолиантами по какой-

то с первого взгляда совершенно непонятной схеме. Это была вселенная, построенная исключительно из кирпичей книг с мягкими, разлохмаченными краями. Но если Медуза – это книга, как же найти ее в таком хаосе? А если нет, то какую другую форму может принять явление, которому он все эти годы не хотел давать точного определения, чьим самым приблизительным символом до сих пор оставалась отвратительная женщина со змеями вместо волос?

Некоторое время Дреглер просто бродил по изогнутым проходам и темным нишам подвала. Время от времени он брал с полки книгу, показавшуюся ему интересной, выдергивая ее из неразличимой массы потрепанных корешков, спасая, прежде чем годы не смешают слова с другими томами бесконечной «Сокровищницы Бенни», слив их в невнятицу бессмысленных, невидимых страниц. Открыв книгу, Люциан прислонился плечом в поношенном пиджаке к грязным полкам. Проведя совсем немного времени в уединенном запустении подвала, он поймал себя на том, что широко зеваает и неосознанно почесывается, как будто оказался в убежище, принадлежащем только ему.

Но стоило ему осознать это ощущение безопасности, просочившееся в разум, как оно тут же растворилось. Чувство спокойного одиночества сменилось неуверенностью, охватившей все его существо. Разве сам Люциан не писал, что «личное благополучие всего лишь открывает в душе бездну, ждущую того, чтобы ее заполнила лавина ужаса, пустое лекало, чьи необычные размеры однажды определяют форму твоего собственного страха»?

В этой ли мысли заключалась причина или нет, но Дреглер почувствовал, что он больше не один, а возможно, никогда и не был один в этой хаотической сокровищнице, но продолжал вести себя так, словно находится здесь в полном одиночестве, прекратив только зевать и чесаться. Давным-давно Люциан понял, что легкий приступ паники скрашивает скучные моменты жизни, прибавляет им остроты, поэтому и не стал подавлять это, возможно иллюзорное, ощущение. Но, так или иначе, как оно часто бывает с состояниями души, зависящими от игры тонких и необъяснимых сил, настроение Дреглера, или интуиция, претерпели неожиданные метаморфозы.

И когда они перешли в новую фазу, все его окружение тоже не отставало: он и сокровищница одновременно пересекли границу, отделяющую игривую панику от страха смерти и боли. Но оба состояния находились одинаково далеко от любого подобия логики, и одно не казалось предпочтительнее другого. («Говоря о страхе, мы должны помнить: его интенсивность не связана с реальностью угрозы».) Поэтому теперь, когда извивающиеся коридоры книг, казалось, стали смыкаться вокруг подозрительного библиофила, полки словно распухли от своего мягкого, заплесневелого содержимого, а еле слышные шорохи и тени резвились в пыли и мраке подземной сокровищницы, – это уже ровным счетом ничего не значило. Разве мог Люциан, повернув за угол, наткнуться на то, что видеть нельзя?

Однако за очередным поворотом обнаружилась западня, а не продолжение коридора, – тупик из трех книжных полок, почти касавшихся стропил потолка. Дреглер уткнулся носом в заднюю стену, как нерадивый школьник, поставленный в угол. Он измерил взглядом высоту, словно проверив на реальность, и прикинул, возможно ли пройти преграду насквозь, преодолев иллюзию плотности. Люциан уже собирался покинуть этот закуток, когда что-то слегка коснулось его левого плеча. Непроизвольно резко он метнулся в сторону, но почувствовал такое же воздушное поглаживание уже по спине. Поворачиваясь против часовой стрелки и сделав полный круг, философ остановился и уставился на человека, который наблюдал за ним, стоя на том самом месте, где он находился несколько секунд назад.

Благодаря высоким каблукам лицо женщины оказалось на одном уровне с Люцианом, а шляпа, похожая на тюрбан, делала ее даже чуть выше. Складки ткани с правой стороны, для Дреглера – с левой, держала металлическая пряжка, унизанная бледно-розовыми камнями. Из-под шляпы выбивалось несколько прядей волос цвета соломы, падавших на не омраченный морщинами лоб. Люциан отметил цветные стекла очков, затем бледные губы без следа помады

и, наконец пальто с высоким воротником, спускавшееся темным элегантным цилиндром до самых туфель. Женщина спокойно вытащила из кармана блокнот, оторвала верхнюю страницу и передала ее Дреглери.

«Извините, что напугала вас», – гласила записка.

Прочитав ее, Люциан посмотрел на женщину: та легонько постучала себя по шее несколько раз, дав знать о каких-то проблемах с голосом. Ларингит, предположил он, или что-то хроническое? Потом еще раз изучил записку и обнаружил на ней название, адрес и телефонный номер компании по обслуживанию печей и кондиционеров.

Затем незнакомка вырвала второе предварительно написанное сообщение из блокнота и вложила его в ладонь Дреглера, широко, но несколько искусственно улыбаясь. (Как он сейчас хотел посмотреть в ее глаза!) Она слегка тряхнула его руку, прежде чем убрать свою, а потом бесшумно, без единого звука ушла. Вот только откуда в воздухе появился странный смрад, который философ почувствовал, когда посмотрел на записку с простыми словами: «Касательно М.»?

Под кратким посланием стоял адрес, а ниже указано точное время на следующий день. Почерк был очень красивым и настолько изящным, что Люциан такого никогда не видел.

В свете прошедших нескольких дней Дреглер был почти уверен, что найдет еще одну записку, когда вернется домой. Сложенная вдвое, она ждала его под дверью квартиры.

Он прочитал:

Дорогой Люциан!

Я должен извиниться перед тобой, я виноват как никто. Если кратко, то нас поймали! Обоих. Причем не кто иной, как моя жена и ее подруга. Эта та блондинка, антрополог из университета Тимбукту или откуда-то еще. Жена не признается, но я клянусь, что видел, как они разговаривали – во время того путешествия по Средиземноморью, о котором я рассказывал. Как бы там ни было, мы еще посмеемся над этим при встрече но, боюсь, это случится не раньше, чем мы с женой вернемся из очередного путешествия. (Снова любимся островами, на этот раз в Тихом океане.) А может, и нет.

Я думал, ты отнесешься к этому скептически и не пойдешь в магазин, но, когда выяснил, что тебя нет дома, испугался худшего. Надеюсь, ты не возлагал на эту затею больших надежд. В любом случае ничего страшного не произошло. Девочки рассказали, что хотели немного пошутить над тобой и твоим фетишем с Медузой. По моему мнению, жена просто хочет, чтобы ты познакомился с ее подругой – говорит, вы просто созданы друг для друга. Почему она так думает – загадка, если только я не рассказал ей о своем старом коллеге больше, чем помню. Но, возможно, теперь ты и сам знаешь больше моего, так как по плану ты должен был встретиться с этой женщиной в магазине. Она, кажется, вполне безобидна, но, сомневаюсь, что ты изменишь своим затворническим привычкам.

Серьезно, надеюсь, ты нас всех простишь. Скоро я увижу тебя, загорелый и умиротворенный эдемом южных морей.

Естественно, записка, судя по подписи внизу, принадлежала Джозефу Глиру.

Его признание казалось искренним. Но что он знал о встрече Дреглера в магазине? В ней явно крылось нечто большее, чем считал Глир, – Люциан был в этом уверен. В конце концов, не Глир был сведущ в обычаях Медузы.

– Это не шутка, мой дорогой Джозеф, – громко произнес Дреглер, хватая записку. Потом собрал все послания, полученные за день, подколол их скрепкой и отправил в новую рубрику своего обширного досье. Она получила временное название «Личные встречи с Медузой, настоящие или ложные».

III

Дом, адрес которого сообщили Дреглеру накануне в магазине, находился не очень далеко – такой большой любитель прогулок мог и пешком дойти. Но по какой-то причине этим утром Люцианом овладела усталость, поэтому он решил поехать на такси по городу, пронизанному моросью. Развалившись на просторном заднем сиденье автомобиля, он кое-что заметил. Ему стало интересно, почему в такой пасмурный день водитель надела темные очки, в которых отражались зеркала заднего вида? Может, она рассматривает своих пассажиров? И может, весь этот мусор на заднем сиденье – согнутый окурочок на подлокотнике двери, почерневший яблочный огрызок на полу – были теми деталями, которые полагалось рассматривать самому Люциану?

Дреглер задумчиво смотрел сквозь окна такси на злобещий слепок насквозь промокшего неба, на захудалые городские улицы, где зонты множились словно грибы в сырости. Шли минуты, и он постепенно потерял то малое ощущение благополучия, которое жизнь отводила ему на день. А значит, все-таки Люциан был встревожен – его сковало рациональностью словно холодом. Предстоящая встреча не наполняла разум фантазиями о приключениях и открытиях. Чуть раньше его беспокоило то, что он может впасть в состояние, не подобающее человеку, который, вероятно, вскоре столкнется с Медузой в некоей ее ипостаси. Дреглер опасался, что его охватит иступленное предвкушение или окрылит надежда. Говоря проще, он боялся, что сойдет с ума, как и многие путники до него, чей разум затуманили грезы. Если ты в здравом уме, считал Люциан, ты либо меланхолически подавлен, либо истерически оживлен – вот две реакции, которые «всегда и в равной мере подтверждали разумное состояние духа». Все остальные были иррациональны, симптомами праздного воображения или, наоборот, подавленных воспоминаний. И над этими обыденными реакциями законно царил сарказм – счастье, уничтожающее видимую вселенную колкостями мрачной радости, экстаз разума. Любой другой образ «мистицизма» был признаком уклонения или рассеянности, выглядел клеветой на очевидное.

Такси свернуло в квартал зданий из промокшего бурого песчаника и остановилось около лужайки, над которой нависали по-весеннему голые ветви двух вязов. Дреглер заплатил водителю, не дождался благодарности за чаевые и быстро пошел сквозь морось к дому из светлого кирпича с черными цифрами «202» над темной дверью с медной ручкой и молоточком. Еще раз сверившись с мятым листком, извлеченным из кармана, Люциан постучал. На улице никого не было, от деревьев и тротуара струился аромат влаги.

Дверь отворилась, и Дреглер быстро вошел внутрь. Неброско одетый человек неопределенного возраста закрыл ее, после чего осведомился задушевым, но каким-то трудноопределимым голосом:

– Дреглер?

Философ кивнул в ответ. Помолчав несколько секунд, мужчина прошел мимо, взмахом руки позвав Люциана за собой. Они пересекли холл и остановились у двери, находящейся прямо под лестницей, ведущей на верхние этажи.

– Сюда, – прокомментировал провожатый, ухватившись за ручку.

Дреглер заметил у него на пальце кольцо, бледно-розовый камень и полоску серебра, и отметил несоответствие угрюмой внешности мужчины и видимой дороговизны украшения. Человек открыл дверь и, не входя внутрь, щелкнул выключателем на стене.

На первый взгляд это была обыкновенная кладовая, заваленная чем ни попадя.

– Располагайтесь, как вам удобно, – сказал мужчина, жестом пригласив Дреглера проследовать внутрь. – Вы можете уйти, когда захотите. Только закройте за собой дверь.

Люциан быстрым взглядом окинул помещение и смиренно, словно самый глупый ученик в классе, спросил:

– Здесь есть что-то еще? Это оно, так? – настаивал он тихим голосом, но уже с чувством собственного достоинства.

– Так, – мягким эхом откликнулся сопровождающий, медленно закрыл дверь, и Дреглер услышал звук удаляющихся по коридору шагов.

Комната оказалась обыкновенным чуланом под лестницей, потолок наискось шел вниз там, где острые ступеньки с другой стороны поднимались вверх. В остальном его было практически не разглядеть из-за простынь, принимавших форму ламп, столов или маленьких лошадок; здесь стояли груды кресел-качалок, детских стульчиков и другой давно не использовавшейся мебели; перевязанные шланги мертвыми питонами свисали с крюков на стене; виднелись звериные клетки с дверцами, висящими на одной петле, старые банки из-под краски и скипидара, крапчатые, как яйца, и пыльная решетка на лампе, сочившая надо всем серую дымку. А еще, разумеется, были тени, и они дрожали, словно созданные пламенем свечи на стене пещеры, извивались на изогнутых поверхностях. Дреглер осмотрел кладовку, взял какой-то предмет и тут же положил его на место, так как руки у него дрожали. Он сел на старый ящик, широко открыл глаза и стал ждать.

Потом Люциан не мог вспомнить, сколько сидел в этой комнате, хотя умудрился сохранить в памяти малейшие нюансы этого бедного событиями бодрствования, с тем чтобы впоследствии использовать их в своих вольных или невольных грезах. (Они пошли в новый, крайне интересный раздел «Личные встречи с Медузой» – в реальности это было пространство, где обитали извивающиеся создания и шипели сотни голосов.) Дреглер убежал из чулана в панике, заметив, как по его отражению в старом зеркале скользит трещина не тоньше волоса. По пути наружу у него перехватило дыхание, когда он почувствовал, что его тянут назад. Но это всего лишь нитка пальто зацепилась за косяк двери. В конце концов она оторвалась, а Люциан получил свободу, сердце его трепетало от страха.

Дреглер никогда не рассказывал друзьям, каким был для него этот вечер, да и не смог бы объяснить, даже если бы захотел. По возвращении из круиза по Тихому океану Глир с супругой пригласили Дреглера к себе на вечеринку. Он сопротивлялся как мог, но тщетно.

– Хочу познакомить тебя с женой, – настаивал Глир. – Ты же мой старый друг.

Так Дреглер наконец встретил новую жену Джозефа и ее сообщницу в «милой шутке», которую они подготовили для философа в магазине. (Вскоре Люциану стало ясно, что никто, и меньше всех он сам, не хочет признавать, насколько далеко зашел розыгрыш.) Дреглер ненадолго остался наедине с этой женщиной в углу переполненной комнаты. Оказалось, у них много общих интересов, и на первый взгляд они неплохо ладили. Хотя встретились впервые, у обоих возникло ощущение, что знакомы они уже давно, но ни возможности, ни желания выяснять, откуда оно появилось, у них не было.

– Может, ты была моей студенткой, – предположил Дреглер.

Она улыбнулась и ответила:

– Спасибо, Люциан, но я не так молода, как ты, по-видимому, думаешь.

Потом ее кто-то толкнул сзади («Опаньки!» – крикнул подвыпивший профессор), и предмет, который женщина во время разговора постоянно вертела в руках, упал в бокал Дреглера. Прозрачная жидкость с пузырьками вмиг окрасилась в бледно-розовый цвет.

– Извините. Я принесу другой, – смутилась она и исчезла в толпе.

Дреглер вытащил сергу из бокала и утащил ее с собой, пока дама не вернулась с новой порцией выпивки. Позже, у себя в комнате, он положил украшение в маленькую коробочку, которую назвал «Сокровища Медузы».

Но доказать Люциан ничего не мог – и знал об этом.

IV

Прошло не так много лет, и Дреглер, как обычно, совершал одну из своих знаменитых прогулок по городу. С момента происшествия в книжном магазине он прибавил пару новых заголовков к своему собранию сочинений и даже завоевал преданную и любящую аудиторию читателей, которые прежде избегали его. До «открытия» научные и популярные круги мало интересовались Люцианом, теперь же любая его привычка, любое отклонение от рутинного распорядка дня в устах комментаторов превращались в «типичную черту» или «определяющую индивидуальную особенность». *«Прогулки Дреглера, – утверждала одна статья, – неотъемлемая составляющая современного разума. Это городские путешествия отлученного от Итаки Улисса»*. Другая аннотация на обложке предлагала следующий слоган: «Самый барочный наследник безумств экзистенциализма».

Но какие бы глупости они ни говорили, его последние книги, «Букет червей», «Банкет пауков» и «Новые размышления о Медузе», позволили философу «овладеть умами умирающего поколения и передать ему свою боль».

«Мы можем жить, только ввергнув свою «душу» в руки Медузы, – писал Дреглер в «Новых размышлениях». – Без разницы, ангел она или дьявол. Она просто развлекает нас уродствами, отвлекает от абсолютной катастрофы, которая иначе превратила бы нас в камень. Каждый образ – всего лишь маска, прячущая невероятно жуткое лицо, лекарство, одуряющее разум. Медуза заботится о том, чтобы мы были защищены, запечатывая нам веки ядовитой слюной своих змей, пока их верткие тела пронзают нас и пожирают изнутри. Мы не должны их видеть, кроме как в воображении, наделяющем эту жуткую картину очарованием. Проникая в сознание, Медуза скорее притягивает нас, чем отталкивает, преследует только по эту сторону окаменелости. С другой же стороны находится непредставимое, неслыханное, то, чего не может быть, – Реальность. Именно она сдавливает наши души сотнями пальцев где-то там, возможно, в той унылой комнате, которая заставила нас забыть, в том месте, где мы оставили себя посреди теней и странных звуков, пока человеческий разум и слова играют, словно шаловливые, глупые щенки, с отклонениями от невообразимой катастрофы. Чтобы избежать ее, нам приходится лнуть к трагедии. От ужаса можно спрятаться только в сердце самого ужаса».

Дреглер добрался до конца своего ежедневного маршрута, там он обычно разворачивался и возвращался в свою квартиру, в ту, *другую* комнату. Он посмотрел на черную дверь с медной ручкой и молотком, потом окинул взглядом улицу, ряды эркерных окон и фонарей над дверьми, неистово сиявших в поздних сумерках. Переведя взгляд на небо, увидел синеватые купола уличных фонарей: опрокинутые нимбы или открытые глаза. Стал накрапывать мелкий дождь, ничего страшного, но в следующее мгновение Дреглер решил укрыться под козырьком гостеприимного особняка.

Вскоре Люциан уже стоял перед дверью комнаты, держа руки в карманах пальто, чтобы избежать искушения. Ничего не изменилось, заметил он, совсем ничего. Дверь никто не открывал после того, как он закрыл ее в тот памятный день несколько лет назад. Тому было даже доказательство, хотя Дреглер каким-то образом знал, что так и будет: длинная нить пальто все еще висела между дверью и косяком. Вопросов, что же делать, не осталось.

Он хотел лишь слегка приоткрыть дверь и быстро заглянуть внутрь, чтобы рискнуть, разочароваться, развеять все те обольстительные раны, которые описывал в уме и в своих книгах, рассеивая их, как те странные тени, которые, полагал он, так и жили в этой комнате. Вот только голоса. Слышал ли он тогда шипение, возвещавшее о ее присутствии, видел ли извивающиеся формы? Люциан не отводил взгляда от своей руки на дверной ручке, аккуратно поворачивая ее, толкая, открывая дверь, поэтому сразу увидел, как кисть озарилась розоватым сия-

нием восхода, а потом закатным темно-алым цветом, по мере того как ее все больше омывало странное свечение изнутри комнаты.

Не было нужды включать свет. Он видел достаточно, так как его необыкновенному зрению помогало треснутое зеркало, стоявшее так, что открывало глазам отраженный вход в мрачные глубины комнаты. А что там, внутри стекла? Расколотый образ, нечто, разбитое нитяной бездной, из которой сочился липкий красный свет. Мужчина, нет, не мужчина, а манекен или какая-то застывшая статуя. Голый, с бугрящимися от усилия мышцами, человек прислонился к стене всякого хлама, раскинув руки и заведя их за спину, словно стараясь не упасть. Его голова откинута назад так сильно, что казалось, у него сломана шея; глаза похоронены в насмерть спаянных складках, двух прорезях, заменивших глазницы. Широко разверстый в беззвучном крике рот разогнал все морщины с нижней половины немолодого лица.

Дреглер едва узнал это лицо, это обнаженное парализованное существо, которое уже почти забыл, вспоминая только как яркую фигуру речи. Как-то раз он использовал его для описания зловещего состояния своей души. Но оно перестало быть всего лишь манящим плодом воображения. Отражение придало ему шарм, сделало приемлемым для разума, так же как обратило змей и ту, что носила их, в яркую картину. Но картина не несла в себе угрозы. Картина не могла обращать живую плоть в камень.

И вот змеи задвигались, обвивая лодыжки и запястья существа, затягивая узлы на шее, пробираясь в распахнутый рот и в орбиты глазниц. В пучине зеркала распахнулись чужие очи цвета вина, разбавленного водой, – *это цвет их культа* – пристально взиравшие сквозь переплетение черных змеиных тел. Их взгляды встретились, но не в зеркале. Дреглер закричал, но звук умер... И вскоре он самым жутким образом воссоединился с существом, обитающим в комнате.

«*И я застыл внутри камня*, – пронеслась у него мысль. – *Но где же весь мир, где мои слова?*» Не было больше ни мира, ни слов, кроме маленькой комнаты и двух ее неразлучных обитателей. Для Люциана все, кроме этого, исчезло, не могло существовать, на самом деле никогда не существовало; и в глубине трепещущего бледно-розового сердца ужас в конце концов настиг его.

На языке мертвых

Conveniens vitae mors fuit ista suae²
Овидий

I

Переодевшись после работы, он спустился на кухню и под перезвон утвари зарылся в ящики, грохоча столовыми приборами и посудой. В конце концов его поиски увенчались успехом, и он извлек на свет божий огромный разделочный нож, нож-для-праздника, за многие годы ставший почти родным. *Был бы этот нож живой – он бы стал моей женой.*

Первым делом он открыл тыкве глаз, вырезав аккуратный треугольник, осторожно вынув мякоть его внутренностей и сбросив, двумя пальцами проведя по лезвию, на заранее растеленный у раковины газетный лист. Теперь второй глаз, и нос, и зубастый рот – тыква готова! Конечно, с ней еще предстоит повозиться – вручную выскоблить семена и волокнистую сердцевину, пристроить внутрь худосочную церковную свечку. «*Направь же их, святой огонь, сквозь*

² «В согласии с жизнью была его смерть» (лат.) – цитата из «Любовных Элегий» Овидия (книга II, элегия 10). Публий Овидий Назон – древнеримский поэт, изгнанный из Рима за смутянство императором Августом.

беды и печаль, ко мне направь, ко мне, ко мне, случайно-невзначай», – как он обычно нашептывал.

Опорожнив сразу несколько леденцовых пакетиков в большую салатницу, он стал перебирать их. Вот кислые, вот фруктовые, вот шоколадные. Все лучшее – детям. Но все же он куснул пару-тройку тут и там – ощутить вкус и текстуру. Но совсем чуть-чуть, потому как дружки-сослуживцы уж посмеиваются за спиной: растолстел, растолстел. Да и аппетит сбивать нечего – как-никак впереди праздничный обед. С обедом надо бы разобраться до того, как стемнеет. А завтра – сесть на диету: строгое питание, ничего лишнего.

В сумерках он вынес тыкву на крыльцо, водрузил на столик – столешница махонькая, а ножки высокие, – накрытый ненужной простыней. Он окинул взором старый район вокруг. На улицах пригорода, у перил соседских домов и за стеклами венецианских окон мерцали круглые лица новых жителей. Праздничные гости останутся на ночь, вот только надежды пережить следующий день у них нет. День поминовения. Патер Миткевич будет служить утреннюю мессу. Перед работой надо бы успеть забежать, времени как раз хватит.

Детишки пока не явились. Хотя... вон же, бегут по улице! Пугало, робот, кто там третий? Белолицый клоун! Нет, это не мертвец, как ему сразу показалось, у которого вместо лица – смеющегося черепа оскал. Не существо, что вместо головы несет на плечах луноподобный планетоид, хладно сияющий в ясной ночи в компании застывших звездных брызг.

Лучше зайти в дом, ведь скоро они придут. Выжидательно застыв за застекленной входной дверью, он шарил рукой в миске с леденцами, нервно перебирал эти сладкие съедобные камешки, смотрел, как падают они один за другим обратно – ни дать ни взять нашедший клад пират. Пират с кудрей седой щетиной, с повязкой на увечном глазу, а на фуражке у него – «Веселый Роджер» и скрещенные кости. Вот он, бежит! Бежит к дому и взбегает по скрипучему деревянному крыльцу; и за поясом у него – пластмассовый ятаган, в самый раз для абордажа.

– Сладость или гадость!

– Так-так-ТАК, – протянул он, повышая голос с каждым новым «так». – Сам Черная Борода ко мне пожаловал. Или ты – Синяя Борода? Вечно я вас путаю. Хотя на самом-то деле никакой бороды у тебя нет, я прав?

Пират стушевался. Кивнул: нет, мол.

– Значит, будем звать-величать тебя Никакая Борода. Пока бриться не начнешь.

– Но у меня усы есть! Сладость или гадость! – Мальчишка уже нетерпеливо подставлял пустую наволочку.

– Да, усы у тебя – что надо. Держи! – Он отсыпал горсть леденцов. – Перережь там за меня пару плоток! – крикнул он вослед, когда парнишка развернулся и дал стрекача.

Не стоило все-таки кричать – соседи услышат. Хотя... вряд ли. Этой ночью улицы полны гуляк, и все – на одно лицо. Отзвуки голосов носятся вверх и вниз по кварталу, а музыка лишь подчеркивает тишину и стылую нескончаемость осени.

Еще, еще бегут! Замечательно.

Сладость или гадость. Тучный ребенок-скелет, из-под маскарадного костюма во все стороны торчит жирок. Как плохо в таком юном возрасте быть толстым, в школе – одни дразнилки. Да и в старости – повезут на погост, а дроги возьми и сломайся. Что ж, побольше конфет толстячку.

– Спасибо большое, мистер!

– Не за что! На, возьми еще.

Скелет грузно спустился с крыльца, и темнота поглотила его внушительный объем – осталось только шуршание бумажного пакетика со сладостями.

Сладость или гадость. Младенец-переросток в слюнявчике и потешном комбинезончике, на детском лице – созвездие прыщей.

– Агу-агу тебе! – поприветствовал он нового гостя, заполняя сладостями очередной протянутый пакетик. «Младенчик» ухмыльнулся и заковылял обратно, придерживая лямки свисающих с зада мешком штанов. И этого поглощает тьма – та же, откуда он на мгновение явился.

Сладость или гадость. Маленький вампир, лет шести от роду, не более. Помахал рукой маме, оставшейся ждать на тротуаре.

– Какой ты страшный! Родители могут тобой гордиться. Сам так накрутился? – спросил он шепотом. Малыш, тараща на него снизу вверх подведенные углем глаза, показал своим маленьким пальчиком с черным лаком на ноготке на взрослую фигуру, застывшую там, на улице, неподалеку. – Мама, да? Она любит кислые карамельки? Само собой, любит. Вот, держи. Это тебе, а это маме. Они красные, цвета крови, вам же, страшным вампирам, такое подавай? – И он подмигнул. Осторожно ступая, маленький Носферату, ужас ночи, сошел с крыльца и побежал к матери. Вскоре они уже держали путь к следующему дому, затерявшись в обезличенной череде предшественников.

Приходили другие. Уходили другие. Пришелец, шмыгающий носом. Пара призраков, источавших острый аромат детского пота. Астматически хрипящий зубодер-стоматолог. Процессия редела по мере того, как ночь сходилась на нет. Поднялся ветер, завывая, и запутавшийся в крючковатых лапах вяза, что рос на другой стороне улицы, воздушный змей внял ему в тщетной надежде на освобождение. Кроны деревьев попирали чистое, как будто натертое до блеска неким безымянным чистильщиком, октябрьское небо. Ярчайший свет луны рассыпался тысячей сполохов, но голоса подлунного мира уже затихали. И вот пришел момент, когда ряженных почти не осталось. Наверное, вон те – последние. Ну и ладно, все равно сладости кончаются.

Сладость или гадость. Сладость или гадость.

Какой интересный дуэт. Ясно дело – брат с сестрицей, может, даже близнецы. Нет, мальчик постарше будет. Пара победителей.

– Эге-гей, мои поздравления жениху и невесте? – спросил он, высыпая последние леденцы в мешочек девочки-жениха в смокинге. Какие у них лица – ясные, чистые, как у ангелов.

– А я вас знаю, вы почтальон, – сказал мальчик в платье.

– Какой зоркий! Повезло тебе с невестой, – подмигнул он девчонке.

– Я тоже вас узнала, – заверила та.

– Само собой, вы у нас – умник и умница. Притомились, наверное, всю ночь гулять?

Оба пожали плечами – вряд ли они знают, что такое притомиться.

– А я вот, знаете ли, устал. Разносил весь день почту по улицам туда-сюда. Каждое божье утро – сумку через плечо и в путь. Только по воскресеньям передышка. Я хожу по воскресеньям в церковь, а вы? Похоже, что да. Правда, не в ту, в какую бы следовало.

– Знаете, в нашей церкви организуют пикники и всякие такие штуки для детей. Послушайте, есть одна идея!

На улице притормозила машина, прочерчивая лучами фар промежутки между домами напротив. Наверное, ищут потерявшихся хэллоуинских попрошайек.

– А впрочем, ребята, бывайте. Я пугаю – вы угощайте, – бросил он резко, отсыпав конфеты невесте, которая чуть не упала со ступенек, едва удержав подол платья. Потом повернулся к жениху, отдав ему все, что оставалось в салатнице. Это просто отсвет от тыквы-фонаря, или мальчик покраснел?

– Ну же, Чарли, пошли, – позвала его снизу сестра.

– Счастливого Дня Всех Святых, Чарли. Еще увидимся, – сказал он, помахав рукой.

На мгновение его мысли приняли иной оборот. Усилив воли возвратив себя в здесь-и-сейчас, он вдруг понял, что дети уже ушли – все до единого. Не считая воображаемых, по своему идеальных. Вроде того мальчика с сестричкой.

Свечу тушить он не стал – пусть доживает свой короткий век. Вскоре она померкнет, а потом и вовсе умрет, и огарок выкинут вместе с другим мусором. Погребут в мусорном баке. Завтра – День поминовения усопших. Нужно отвезти маму в церковь и оплатить еженедельный святой долг. Не забыть также поговорить с патером Миткевичем насчет похода на футбольный матч с группой детишек.

О, дети... Ваш ежегодный маскарад подошел к концу. Смыт грим, спрятаны наряды. Он закрыл дверь на замок и погасил свет внизу. Затем, почти задыхаясь, взобрался по ступенькам в спальню на втором этаже. Раздевшись, скользнул в кровать под одеяло. Лежа на спине, он все еще слышал «Сладость или гадость!» и видел их лица во тьме. И когда они намеревались раствориться, уйти на самое дно водоворота сна, он возвращал их обратно.

II

– Сладость или гадость! – тянуло скорбную ноту трио неприглядных, шмыгающих носами бездомных. Этот год выдался куда холоднее, и он надел голубовато-серую шерстяную форму, в которой обычно разносил почту.

– Вот тебе, тебе и тебе, – профессиональным тоном произнес он, но бездомные, кажется, не оценили подаяние. Теперь не то что раньше: они вообще ничего не ценят. Все течет, все меняется. Ну и наплевать – отпусти и забудь, и да захлопнет твою дверь порыв ледистого ветра.

Несколько недель назад и вяза, и красные клены по всей округе, поддавшись холоду, сбросили листья. Мрачной сиреновой хмарью наполнили на небо тучи, и ни одна звезда теперь не сверкала на небе. Кажется, быть снегопаду.

В этом году на празднике было куда меньше детей, а те, что все-таки явились, даже не напрягали фантазию, придумывая костюмы. Намазали лица печной сажей – и давай клянчить. В той же одежде, что каждый день носят.

Все стало таким... *чужим*, все изменилось после внезапной смерти его матери. Странно, что можно так страдать, потеряв то, что, по сути, никогда не ценил. Умирает крошечная, вредная старушонка, и вот ее отсутствие становится физически ощутимым. Теперь он в полном одиночестве. Раньше – ночь с редкими проблесками звезд, теперь же – ничего, беспросветная удушливая тьма.

Но вспомни те времена, когда...

Ну уж нет. *De mortuis nihil nisi bonum* – «О мертвых ничего дурного». Патер Миткевич отслужил прекрасную службу, и не было никакого смысла нарушать то восхитительное чувство завершенности, вложенное священником в похоронную церемонию матери. Так зачем же он думает о ней сейчас?

Больше не было детей, бродящих по улицам в округе. Все разошлись по домам. Пока-пока. Он подумал, что лучше и сам закроется до следующего года. Нет, погодите-ка...

Вот же они! Снова – являются поздно вечером, как и в прошлом году. Сними куртку, как-то внезапно потеплело. Теплые звезды вернулись, лучась своим настоящим светом. Как красиво мерцают эти две маленькие точки в темноте. Их звездная сила, их густое сияние наполняют его. Теперь он был даже благодарен за все уныние этого Хэллоуина, лишь предвосхитившее грядущий восторг. То, что дети были в таких же костюмах, как в минувшем году, было чудом, на которое он даже не смел надеяться.

– Сладость или гадость! – крикнули они издали. А он просто стоял неподвижно и смотрел на них из-за стеклянной двери, и тогда они позвали снова. Тогда-то он открыл им дверь настежь.

– Здравствуйте, счастливая вы моя парочка! Рад видеть вас снова. Помните ли меня, старого почтаря?

Дети переглянулись, и мальчик сказал:

– Да, конечно.

А девочка захихикала, и от ее звонкого юного смеха стало легко на душе.

– Ну вот, год прошел, а вы двое все еще одеты так, будто свадьба на носу. Или она только что прошла? Такими темпами вы далеко не уйдете. Что будет в следующем году? Через два года? Вы никогда не станете старше – понимаете, о чем я? Не изменитесь. Вас это устраивает?

Они кивали вроде бы с пониманием, но то были лишь знаки вежливого недоумения.

– Ну что ж, меня тоже устраивает. Между нами – давно уж хочу, чтоб всем переменам конец пришел. Ну, ладно уж... как насчет сладостей?

Он раздал им конфеты, и они осыпали его благодарностями – как и хозяев многих других домов. Но перед тем как отпустить их с Богом, он задержал их еще немного.

– Эй, кажется, однажды я видел, как вы вдвоем играли у своего дома. Я тогда разносил почту. Тот большой белый дом на Пайн-корт – ваш, я прав?

– Нет, – сказал мальчик. Его сестрица уже нетерпеливо пританцовывала на тротуаре. – Наш – красный с черными ставнями. На Эш-стрит. – Не дожидаясь ответной реакции, он побежал к сестре, и вскоре жених и невеста рука об руку вышагивали по улице. Они удалялись прочь – все дома поблизости были темны и закрыты, обирать больше некого. У него на глазах они стали крошечными далекими точечками и в конце концов канули во мрак.

Холодно. Надо закрыть дверь. Тем паче что смотреть больше не на что – встреча эта уже подробно задокументирована в альбоме его памяти. А в этом году лица у них были особенно сияющими. Быть может, они и правда ни капельки не изменились. И никогда не изменятся. *«Нет, – размышлял он в темноте спальни, – все меняется – и всегда к худшему»*. Но в его памяти милая парочка была спасена от всей этой метаморфической скверны. Снова и снова он представлял их, убеждаясь, что детки – все те же.

Он поставил будильник, чтобы вовремя проснуться к завтрашней утренней мессе. В этом году никто не пойдет с ним в церковь. Впервые он явится туда один.

Один.

III

На следующий Хэллоуин внезапно выпал первый снег. Тончайшая белизна осела на земле и деревьях, украсив лик пригорода аристократично-бесцветной пудрой. В лунном свете блистал иней. Сверканию снега внимали звезды на небе – что вверху, то и внизу. С запада надвигался чудовищных размеров облачный фронт, грозя окончательно засыпать, опустошить мир, заглушить все звуки, очистить ноябрьские сумерки от крика перелетных птиц.

«Еще не ноябрь – а вы только гляньте», – думал он, прислонившись лбом к застекленной входной двери. В этот вечер мало кто казал нос на улицу, гостеприимных домов стало еще меньше, закрытые двери и темные веранды разворачивали несмелых путников восвояси, отправляя вслепую блуждать по улицам. У него тоже не было никакого настроения, он даже не выставил тыкву-фонарь, маяк своей ночной гавани.

Да и как дотащить эту тяжелую штуку, когда такое приключилось с ногой? Одно неудачное падение с лестницы – и он начал получать от государства пособие по инвалидности, пролежав дома несколько месяцев кряду.

Он молился о наказании, и его молитвы были услышаны. Им стала не дрянная нога, что приносила лишь физическую боль и неудобства, а изоляция. Изоляция – одно из того множества наказаний, которым его подвергали в детстве. Мать запирала его в кладовой внизу, в подвале. Как она могла так поступать? Как могла ссылать единственного сына в подвал, сырой и промозглый, где даже не было света – кроме того, что падал с улицы сквозь запыленное оконце? Он всегда усаживался как можно ближе к свету. Именно там как-то раз увидел, как муха бьется в паутине. Он все смотрел на нее и смотрел, и в конце концов попить добычей явился

паук. Объятый ужасом, он не сводил с них глаз. Когда все закончилось, ему захотелось что-то сделать... и он сделал. Извернувшись, он вытащил из паутины маленького паучка. Тот оказался совершенно безвкусным, лишь на мгновение защекотало что-то на пересохшем языке.

– Сладость или гадость, – услышал он. Почти встал, чтобы с трудом, опираясь на палку, доковылять до двери. Но пароль Хэллоуина прозвучал где-то в отдалении. Почему голос казался ему таким близким на мгновение? То, верно, сила воображения: то, что далеко, ему близко, там, где низ, у него верх, где больно – там приятно. Может, стоит запереться на ночь. Ряженных в этом году совсем мало. Сейчас на улицах – самые нерасторопные. Вот как раз одна такая...

– Сладость или гадость, – позвал голосок, тихий и слабый. По ту сторону двери его ждала тщательно наряженная ведьма, в теплой черной шали и черных перчатках по локоть, дополнявших черное платье. В одной руке у нее была старая метла, в другой – сумочка.

– Подожди, пожалуйста! Всего минутку! – крикнул он через дверь, налегая на трость. Больно! Ну и хорошо, что больно, – так и должно быть. Он взял полный пакет конфет с журнального столика и был готов отдать все его содержимое маленькой леди в черном. Но вдруг он узнал, кто скрывался под трупно-желтым гримом. Осторожно. Не чуди. Притворись, что не узнал ее. И ни слова о красных домах с черными ставнями. Ни слова об Эш-стрит.

Хуже всего то, что на тротуаре ее ждал кто-то из родителей. Сторожил последнего живого ребенка. Хотя может, были и другие – но он всегда видел только брата и сестру. Осторожно. Прикинься, что не знаешь ее. В конце концов, в этот раз у нее другой наряд – не тот, что был в последние два года. И ни слова о том, что ты знаешь...

А что, если задать невинный вопрос: «А где же твой младший братец?» И что же она ответит? «Его убили»? Или, может, «он умер», или нейтрально звучащее «его нет» – все зависит от того, как ей объяснили родители. Ну нет. Если удача все еще с ним, не придется ничего выяснять.

Он открыл дверь ровно настолько, чтобы протянуть конфеты и негромко молвил:

– Держи, ведьмочка. – Последнее слово вырвалось как-то само собой.

– Спасибо, – ответила она шепотом, вечным шепотом страха и опыта. Они оба кого-то потеряли, кого-то близкого – не так давно.

Отвернувшись, она сбежала с крыльца. Черенок метлы, глухо стуча, пересчитал все ступеньки. Идеальный атрибут ведьмы. Идеальное средство, чтобы ребенок не озорничал. Метла-старушенция вечно караулит в углу и услужливо ждет часа наказания. Ты ее всегда видишь, и вскоре она становится кошмаром, навязчивым кошмаром. У его матери была такая же.

Когда девочка с мамой скрылись из виду, он запер дверь, отгородившись от мира, и после всего пережитого даже порадовался одиночеству. А ведь совсем недавно оно его угнетало.

Пора в постель. В темноту.

Но он не смог спокойно, без снов, заснуть – монотонный ужас, гротескная череда пугающих образов, напоминавших кадры черно-белых фильмов, проникли ему в голову. Перед ним скакали нелепо перекошенные лица кричащих цветов, и он ничего не мог с этим поделать. В своем безумном хороводе они издавали странные звуки, будто идущие из некой помраченной зоны между его сознанием и луной за окном спальни. Гул не то взволнованных, не то испуганных голосов заполнил фон его воображения, прерываемый отчетливыми криками, зовущими его по имени. Кричала его мать – абстрактная версия ее голоса, лишенная отныне всякого чувственного качества, что могло бы идентифицировать его как таковой, став чистой идеей. Голос звал его из далекой комнаты в памяти. «Сэм-ю-эл, – взывал он с необъяснимой жуткой настойчивостью. – Сэмюэл! Сладость или гадость!» За словами стелилось долгое эхо, и прежде чем стихнуть, они менялись: «Сладость или гадость! – вниз по улице, по краю – на Прах-Стрит попасть желаю». И эта фигура, фигура мальчика, мелькавшая за высокими кленами, скрывавшими его. Он знал, что за ним следила машина той ночью? Только не потеряй его из виду.

Вон он, на другой стороне. Красивые деревья. Старые добрые деревья. Вот он оборачивается – в маленькой руке связка ниток – нитки тянутся к самым звездам, как к воздушным змеям или игрушечным самолетикам, и звезды кричат, молят о помощи, что никогда не подоспеет. И снова зовущий голос его матери, и какие-то другие голоса тоже зовут – велеречивое потустороннее единство обращалось к нему на языке мертвых.

– *Сладость или гадость...*

Нет, *эти* слова, похоже, не были частью сна. Они шли откуда-то со стороны, и звук их разбудил его, вырвал из тяжелого забытья. Толком не проснувшись, стараясь не ступить на больную ногу, он поднялся из влажного кокона простыней и опустил обе пятки на пол. Твердь придала уверенности. Вот опять:

– *Сладость или гадость.*

Это снаружи. Кто-то стоит у двери.

– Иду, – крикнул он в темноту, осознавая через звук собственного голоса весь абсурд сказанного. Сыграли ли месяцы социальной изоляции злую шутку с рассудком? Слушай внимательно. Может, это больше не повторится.

– Сладость! Или гадость! Сладость-сладость-сладость!

Озорник, подумал он. Нужно было спуститься и проверить. Он представил озорно смеющуюся фигуру. Или фигуры, что прянут в темноту, – стоит открыть дверь. Надо поторапливаться, если он хочет застать их там. Проклятая нога, где же трость? Наконец он сыскал халат во мраке и накинул сверху. Теперь только справиться с проклятой лестницей. «*Включи свет в прихожей. Нет, так они узнают, что я иду. Не стоит*».

Учитывая его состояние, он управился с лестницей довольно быстро. И мрак ему нипочем, и ночь ему нипочем. Все ему нипочем. Даже назойливые призраки. «*А ну внимательнее будь! И под ноги смотри!*» Все, последняя ступенька позади. Звук – от входной двери, сдавленный смех. Хорошо, что еще не убежали. Он поймает их, убедится, что они реальны. Но после тяжелого спуска с лестницы, хватая ртом воздух, он уже ни в чем не был уверен.

Он повернул замок над ручкой и толкнул дверь, стараясь, чтобы промежуток между двумя этими действиями был как можно короче. Холодный ветер забрался под дверь, под ноги, влетел в дом. На крыльце – ни следа шутника. Хотя нет – вот же след.

Пришлось зажечь на крыльце свет, чтобы понять. Прямо напротив двери покоилась на цементном полу разбитая тыква-фонарь – мягкую корку растоптали по всему крыльцу. Он открыл дверь еще шире, дабы разглядеть получше, и ветер улучил момент, мазнув по макушке леденящими крыльями. Какой сильный порыв – закрывай скорее дверь! Закрывай!..

– Вот же маленькие негодники, – громко сказал он, пытаясь взять себя в руки.

– Это ты о ком, старик почтовик? – спросил голос из-за спины.

Кто-то стоял на лестнице. Кто-то невысокий, держа что-то в руках. Вооружен. Ну ничего – у него тоже есть его трость.

– Как ты сюда попало, дитя? – спросил он, не уверенный до конца в том, что перед ним именно *ребенок*, слишком уж странно звучал голос.

– Сам ты дитя, соня. Ты же так хотел, чтобы тебя кто-нибудь согрел, пока ты сидел в подвале.

– Как ты сюда попал? – повторил он вопрос, все еще пытаясь найти рациональное объяснение происходящему.

– Сюда? Я уже был здесь. Но я сейчас нахожусь и снаружи, если тебе интересно.

– Где снаружи? – спросил он.

– Где все привидения и ведьмы. – И фигура указала за окно, прямо под потолком, на калейдоскоп неба.

– Что ты имеешь в виду? – спросил он с воодушевлением сновидца, ибо только обыденность сна помогала ему сейчас сохранять рассудок.

– Ты о чем? Я ничего не имею в виду, придира.

«Двойное отрицание, – подумал он, радуясь вернувшейся связи с реальным миром грамматических правил. – Двойное отрицание: два пустых зеркала, возводящие пустоту друг друга в бесконечную степень, ничто, сводящее на нет ничто».

– Ничего?

– Ну да, ничего, а ты отправишься в ничто.

– И как же это произойдет? – спросил он, крепко сжимая трость в предчувствии скорой развязки.

– Как? Мертвые об этом позаботятся... Сладость... или *гадость!*

И внезапно существо кинулось на него в темноте.

IV

На следующий день его нашел патер Миткевич, который сначала позвонил ему домой, обеспокоившись отсутствием образцового прихожанина на утренней мессе в День поминовения. Дверь патер застал услужливо открытой, а сам хозяин дома лежал у подножия лестницы, запутавшись в старом халате. Бедняга, похоже, снова упал, и этот раз стал роковым. Бессмысленная жизнь, бессмысленная смерть. Как писал Овидий: *«В согласии с жизнью была его смерть»*. Так подумал священник, а на похоронах произнес совсем другую речь.

«Но почему же дверь была открыта, если он упал с лестницы», – озадачился позднее патер Миткевич. Полиция заподозрила неизвестного грабителя – одного или даже нескольких. Мотив мести, взятый в разбор поначалу, был отмечен сразу после беседы со священником. Сама идея о том, что такому серому человеку кто-то станет за что-то мстить, казалась неправдоподобной и ни на чем не основанной. В любом случае грабить его никто не собирался – мужчину забили до смерти, вероятно, его же тростью. Позднее было установлено, что труп был осквернен, но это была не трость, как думали вначале, а что-то куда более длинное и грубое, нечто вроде метлы, вероятно очень старой, расщепленной и прогнившей. Теперь полиция всюду ищет ее.

Но они никогда не найдут ее там, где ищут.

Чудо сновидений

*Идеальный уход из жизни я видел драмой, подготовленной
странными знаменьями, обрисованной снами и наваждениями,
вращенной в атмосфере тонкого страха – но давшей всходы в короткий
час, как какой-нибудь ядовитый гриб в запущенном подвале...*

Из походных дневников Артура Эмерсона

Что-то странное приключилось с лебедями, которые гостили в поместье Артура Эмерсона вот уже много лет кряду. Конечно, он мало знал об их повадках и не смог бы наверняка сказать, в чем именно состоит странность их поведения, где отклонились они от своих инстинктов, – но он ясно понимал, что отклонение все же есть, пусть едва заметное. Эти птицы, приевшиеся с течением времени, как и все остальное, наполнили его чувством почти забытым – удивлением.

Тем утром они собрались в центре озера, над тихими водами которого парил молочно-белый туман. Пока Артур наблюдал за ними, лебеди не рисковали причалить к заросшим травой берегам. Всякий из их четверки – а ровно четверо их и было, – двигался своим особым курсом, как бы в угоду некоему бесу противоречия. Затем их гладкие, призрачные формы разворачивались с грацией механических игрушек и возвращались в некую условную точку сбора.

Еле заметно кланяясь друг другу, оказывая некий безмолвный жест признания, лебеди вдруг вытягивали свои гуттаперчевые шейки, обращали оранжево-черные клювы к густому туману и наблюдали за чем-то в его клубах. Их крики звучали так странно – ничего похожего на обширных землях сего уединенного поместья Артур давно уже не слышал.

Он задумался, не тревожит ли лебедей нечто незримое. Стоя у высоких окон и глядя на озеро, он подметил, что Грефф, слуга, спустился к берегу и разведывает обстановку. Не поселился ли в близлежащих лесах некий хищный зверь? Возможно, размышлял он, ведь дикие утки, птицы неказистые и невыразительные, но неизменно хозяйничающие в озерных окрестностях и заявляющие о себе хоть бы и громким кряканьем, куда-то исчезли. А может, туман был всему виной – необычайно густой, почти непроглядный в то хмурое утро.

Остаток дня Артур Эмерсон провел в библиотеке. Время от времени его навещала черная кошка – отчужденный, похожий на призрака обитатель поместья. В конце концов она уснула на подоконнике, пока ее хозяин расхаживал среди стеллажей с бесчисленным множеством собранных лет за пятьдесят и до сих пор неучтенных томов.

В детстве собрание книг на темных полках библиотеки ничего особенного из себя не представляло – большую его часть он дарил или уносил на растопку, освобождая место для новых приобретений. Он был единственным ученым в длинной череде наследников рода Эмерсон, предпочитавших торговлю науке; был он также и последним из них. В случае его смерти дом переходил в распоряжение дальнему родственнику, чьего имени Артур даже не знал, как не знал и лица, да и особо этим не интересовался: примирение с собственной непоследовательностью, как и со всем земным, было позицией, которую он воспитывал в себе всю жизнь с превеликим успехом.

В молодости он много путешествовал – зачастую по нуждам академическим. Его научные интересы тяготели к этнологии, но на стыке с эзотерикой. В разных уголках мира, казавшегося ему теперь ограниченным и внушающим чувство клаустрофобии, он стремился удовлетворить врожденную тягу к разоблачению причудливой, шокирующей даже загадки бытия. Артур Эмерсон вспоминал, что, когда был ребенком, ему казалось, что окружающий мир вмещает в себя гораздо больше, чем принято видеть. Это чувство невидимого часто напоминало о себе в моменты созерцания розового свода чистых небес над сбросившими листву деревьями или долгое время простоявших закрытыми комнат, где пыль возлежала слоем на старых картинах и мебели. Для него, впрочем, эти маски скрывали пространства совершенно иной природы. В таких воображаемых или божественных сферах царил разлад – трепещущий вихрь, опровергающий относительный порядок зримого.

Только в редких случаях он мог проникнуть в эти невидимые пространства, и всегда неожиданно. Поразительный опыт такого рода имел место в его детские годы, когда он наблюдал с холма за плывущими по озеру лебедями. Возможно, именно их неторопливое скольжение по воде повергало его в легкий транс. Конечным эффектом, однако, служила не безмятежная кататония гипноза, но бурный полет сквозь искрящиеся врата, распахивающиеся прямо в воздухе. За их порогом его ждала калейдоскопическая Вселенная, состоявшая лишь из многоцветных изменчивых первооснов вроде света или воды, где само время не существовало.

Вскоре он стал исследователем тех туманных краев, на чьем существовании настаивают лишь мифы и легенды, – мест сокровенных или противоречащих здравому смыслу. В его библиотеке было несколько книг, написанных им самим – своеобразная хроника прижизненных навязчивых идей: «На задворках Рая», «Забытый мир итальянских коммун», «Учение о Тайных Богах». Долгие трепетные годы его тяготило подспудное подозрение, что невероятных масштабов пласт людской истории – один мазок кисти на подлинном холсте исчислимого временем бытия. И как возвышалось то чувство, что собственная быстротечная жизнь – лишь микроскопическая часть того, что само по себе – жалкий обрывок бесконечного полотна! Каким-то образом ему надо было освободиться из темницы своей жизни, шагнуть за грань. Позже,

однако, он сломался под тяжестью своего стремления, и по прошествии многих лет единственной тайной, которая, казалось, была достойна его интереса и изумления, оставался тот несказанный день, что возвестит его персональную вечность, день, когда солнце не поприветствует его.

Достав с высокой полки массивный фолиант, Артур Эмерсон направился к загроможденному рабочему столу, дабы выписать кое-что для своего труда – скорее всего последнего, с рабочим названием «Династии, обращенные в прах».

Ближе к ночи он решил взять передышку и подошел к оконному выступу, где в сгущающихся сумерках спала кошка. Ее бока для спящего существа вздымались как-то чересчур энергично, она издавала странноватый свистящий звук – непривычное мурлыканье. Кошка открыла глаза и посмотрела вокруг, как обычно делала, когда хотела, чтобы ее погладили, но как только Артур Эмерсон положил руку на гладкую черную шерсть, она его поцарапала, потом прыгнула на пол и выскочила из комнаты. А он остался, глядя зачарованно, как стекает по руке кровь.

Весь этот вечер он чувствовал себя беспокойно, глубоко не в ладах с атмосферой каждой комнаты, в которую он входил и почти сразу же покидал. Он бродил по дому, твердя себе, что просто ищет свою черную питомицу, хочет узнать, что с ней не так. Но этот предлог все время забывался, и тогда Артуру Эмерсону стало ясно, что он ищет что-то куда менее осязаемое, чем сбежавшая кошка. Эти комнаты, какими бы высокими ни были потолки, ввергали в клаустрофобию. Его шаги, эхом отдаваясь в длинных освещенных коридорах, походили на перестук костей. Дом стал напоминать музей тайн.

Наконец бросив поиски, он позволил усталости сопроводить себя в спальню. Там он открыл окно, надеясь, что из дома выветрится этот сковывающий дух. Но тут оказалось, что не только сам дом так и кишит тайнами, – неладно было и там, снаружи. Ночь, нахально вздыбив занавески, стала втискивать себя в келью Артура. По небу самодовольным театральным задником катились сгустки серых облаков, да и сам свод небес напоминал скорее ограниченную декорацию, а не бесконечный простор. Увидев отражение собственного лица в оконной раме и найдя его до жути чуждым, Артур отступил от него назад, в темноту спальни.

Той ночью он заснул с трудом. Сны, явившиеся ему, не имели конкретной формы – они пребывали в тумане, где скользили плавно чьи-то деформированные тени. Потом, сквозь странное скопление наплывающих серых облаков, выступила вперед исполинская черная тень – уродливый колосс, обезображенный монумент, высеченный из абсолютной пустоты глубочайшей бездны. Тени поменьше, побледнее и послабее, сливались в пронзительном хоре, возносили Его Величеству Тени иступленную хвалу. Артур взирает в ужасе на этого великана, пока чудовищная махина не задвигалась, воздев вверх уродливые окорока рук – или какую-то иную часть себя. И тогда он проснулся – отбросив одеяло, возвратился в реальность, чувствуя легкие прикосновения теплого бриза. Странно – ему-то казалось, что перед тем, как лечь, он все-таки закрыл окно.

Следующим утром Артур убедился, что не найти ему спасения от необъяснимых сил – тех, что наводнили дом и не покидали его уже второй день. Вокруг поместья сгустилась пелена мглы, скрывая от обитателей дома происходящее во внешнем мире. Едва ли узнаваемы были сквозь ее призму очертания деревьев и ближайших к окнам розовых кустов – даже они стали чем-то иным, потусторонним, частью безграничной темницы снов и грез. Невидимые в тумане лебеди кричали, словно банши³, на озере. И даже Грефф, зашедший в библиотеку в громоздкой куртке садовника и перепачканных землей рабочих брюках, выглядел не столько человеком, сколько провозвестником дурной поры.

– Не кажется ли тебе, что птицы ведут себя странно? – спросил Артур из-за стола.

³ Банши – болотные ведьмы в ирландской мифологии, пугающие припозднившихся путников истошными криками.

– Нет, сэр, – ответил Грефф. – Вроде бы все как обычно.

Однако, как выяснилось, слуга отчасти лукавил. Он обнаружил кое-что, достойное личной инспекции хозяина дома. Вместе они миновали несколько лестничных пролетов, спускаясь к подвальным помещениям и хранилищам под поместьем. По пути Грефф стал объяснять, что искал тут кошку, которая со вчерашнего вечера так и не объявилась. Быстро взглянув на слугу, Артур молча кивнул, отметив про себя некую странность в поведении старика-дворецкого. В паузах между фразами тот вдруг начинал что-то странно напевать тихим и низким голосом.

Забравшись далеко в подземные катакомбы поместья Эмерсонов, они достигли залы, что, казалось, осталась недостроенной – несмотря на то, что здешние подвалы возводились очень давно. Здесь не было светильников, кроме тех, что принес заранее Грефф, и кладка стен не знала краски, равно как и пол представлял собой лишь голую земельную твердь. Изогнутым пальцем Грефф обвел залу по кругу, и Артур Эмерсон заметил, что она превратилась в настоящий склеп: останки мелких животных – мышей, крыс, уток, енотов, белок и опоссумов – усеивали землю. Артур знал, что в кошке порой просыпался охотник, но ему показалось крайне странным, что все-все тушки снесли именно сюда, сотворив своеобразное святилище увечий и смерти.

Закончив с осмотром залы, Артур заметил, что Грефф что-то прячет в кармане. И с каких это пор старый слуга сделался таким странным?

– Что там у тебя? – спросил он.

– Сэр? – Грефф выглядел смущенным, как будто сам не понимал, что делает. – А, это. – Он показал Артуру миниатюрные садовые грабли с четырьмя похожими на металлические когти зубцами. – У меня была кой-какая на улице работа... точнее, я хотел поработать, если будет время.

– А что не так со временем? Да и потом – работать в такой день?

Очевидно, растерявшись еще сильнее, Грефф указал зубьями маленьких граблей на разлагающиеся тушки.

– Их даже не объели. Ни одну божью тварь, – тихо сказал он и снова что-то запел – молитву, быть может.

– Да, я вижу, – согласился Артур, все еще недоумевая. На потолочные балки Грефф закинул толстый черный провод, на конце которого болталась в патроне лампочка. Взяв его, Артур направил свет в дальние углы залы. Ему показалось, что тушки животных были разложены не просто случайным образом, а в каком-то особом порядке, и вскоре старый слуга подтвердил подозрение:

– Похоже на узор домино. Но в этом ведь нет никакого смысла.

Согласившись с метким сравнением с лабиринтом домино, Артур готов был оспорить мнение слуги касательно отсутствия замысла. Оторвав взгляд от пола, на дальней стене он увидел пятно странной формы, словно оставленное плесенью или влагой.

– Мне привести тут все в порядок? – спросил Грефф, покрутив в руке грабли.

– Что? Нет, оставь все как есть, – решил Артур, чувствуя необъяснимый ужас, поднимающийся из глубин его сна и отпечатавшийся на камне. – Оставь все как есть, – приказал он бодрящемуся слуге.

Он вернулся в библиотеку и подошел к одному из стеллажей. Там были собраны его личные архивы старательно переплетенных путевых дневников, хранившихся долгие годы. Он брал их один за другим, перелистывал каждый том, доставал другой. Наконец он нашел нужную ему запись о визите в Центральную и Южную Италию в молодые годы. Сев за стол, Артур склонился над страницей. Прочитав всего несколько предложений, он тут же задался вопросом, кем был сей странный лирический герой, этот призрак. Вне сомнений, имелся в виду он сам, но в одном из предыдущих воплощений – в некой иной ипостаси.

Запись была озаглавлена:

Сполето (иды⁴ октября).

Какие же чудеса обретаются здесь, в коммунах Италии! Не устану славить эти маленькие улочки, сплетающиеся в поистине магический лабиринт, не утомлюсь петь хвалу древним городам Умбрии, богатым на такие места! Извилистые тропы здесь будто созданы для лунатических путешествий. Здесь кругом – серые стены высоких домов, сколоченные из досок навесы и бесчисленные арки, кои безликий день, уступая часу сумерек, обращает в подлинный карнавал теней, освещенный ночными звездами. Осень коммуны! Бледно-желтые уличные фонари пробуждаются, словно призраки на исходе дня, обещая путь непростой, но исполненный чудес всякому, кто пройдет по этим улочкам. В последний вечер именно такая атмосфера ждала меня.

Опьяненный как самой Виа Порта Фуга⁵, так и выпитым за обедом вином, я пошел гулять среди мостов, арок и навесов, вверх и вниз по истертым ступеням лестниц, вдоль украшенных витками плюща стен домов, мимо темных окон, отгороженных стальными решетками. Свернув за угол, я увидел впереди низкую приоткрытую дверь. Недолго думая, заглянул я внутрь, в маленькую даже не комнатку, а нишу между соседними домами. Во мраке различимы были лишь две свечи, свет коих насылал сонм теней. Из сердца темноты ко мне обратился голос – по-английски, с весьма аристократичным акцентом:

– Все, что осталось от седой старины. – Голос звучал устало, будто изношенный шестереночный механизм, со странным присвистом, как если бы естественные низкие тона в нем резонировали с некими едва слышимыми обертонами. – Да, сэр, я обращаюсь к вам, – продолжил он. – Лишь седая древность, пережитки древнего мира. Заходите, не бойтесь – плата за проход не взимается.

Наконец хозяин голоса показался во плоти – лысоватый джентльмен среднего возраста, одетый в поношенный, как и его утомленные интонации, твид. На его лик ниспадала тусклая желтизна фонаря, висевшего у распахнутой двери, наделяя его отрешенностью статуи. Спокойствие этого мужчины определенно произрастало из полного душевного истощения – не из безмятежности ума.

– Здесь – алтарь Божий, – произнес он. – Но где бы вы ни побывали и сколько бы нового ни узнали, об этом божестве вы даже не слышали. Не тот Бог, от которого можно отгородиться маской атеизма. Отдаленное отношение он имеет к римской системе колодцев и сточных ям, но это не Клоацина и не Стерквилн⁶. Имя этому Богу – Цинофоглис: Тот, кто не имеет формы, повелитель всех метаморфоз и хаоса, Царь Скверны, несущий смерть людям, богам и любому проявлению жизни в принципе; гробовицк всего сущего. Входите, это бесплатно.

Я остался стоять там, где стоял, и джентльмен отступил в сторонку, чтобы я смог лучше рассмотреть убранство комнаты, открывавшейся за приоткрытой дверью. Стало видно, что те свечи горели по обе стороны от низкой высеченной из камня плиты. На сей плите-постаменте возвышалось нечто, не вполне поддающееся описанию, – некий бесформенный объект, смахивающий на кусок хаотично застывшей лавы. Древних богов так не изображали. Больше ничего и никого в этом зловещем закутке не было.

Сейчас я могу утверждать, что в столь необычных обстоятельствах, описанных выше, самым разумным было бы лаконично извиниться и покинуть это место, но, как я уже говорил, тогда я находился под огромным впечатлением от города и всех его тайных зако-

⁴ Идами в римском календаре называются дни в середине месяца (как правило, 13–15-е числа).

⁵ Via Porta Fuga – реально существующая улица в Сполето, городе в итальянской провинции Перуджа.

⁶ У древних римлян процесс дефекации и утилизации отходов «обслуживали» два разнополых божества: Стерквилн, обычный бог фекалий и навоза, и Клоацина (Клоакина) – богиня канализационных систем.

улков. Очарованный призрачной обстановкой, я был готов принять предложение пожилых джентльмена, ибо предо мной маячила новая городская тайна – в этот раз носившая конкретное имя – имя Цинофоглис.

– Но будьте смиренны, сэр. Предупреждаю вас – проявите смирение.

Я удостоил джентльмена быстрым взглядом и осознал, что слова его – не пустой звук, что они продиктованы всем его нынешним жалким, обнищавшим состоянием, в котором – сколь ни трудно было поверить в это! – пребывал он всегда.

– Заходите. Не бойтесь. Бог ответит на ваши молитвы. Он не обманет, – шепотом произнес хранитель алтаря. – И его не обманешь.

Ступив за порог низкой двери, я прошествовал к алтарю и получил рассмотреть божка на нем. Изогнутая форма фигуры из темной слюды поражала воображение. В ее очертаниях главенствовал совершенный динамизм – будто двигалось сплетение огромных корней, вздыбившихся из оков земли. Станный образ был переполнен мрачной энергией, скрытой за внешней неподвижностью идола. Венчали композицию придатки, похожие на две массивные руки, – они застыли в странном жесте и, казалось, вот-вот задвигаются.

Приблизившись вплотную к идолу, я простоял рядом с ним гораздо дольше, чем собирался. И вдруг я осознал, что составляю в уме молитву, – не трудно представить, какое смятение охватило мою душу и мой дух. Что сподвигло меня на эту молитву и предопределило ее характер – близость странного божка или атмосфера коммуны? Полагаю, что-то такое они внушали, некое предвкушение великих свершений: великих тайн и великой скорби, великих чудес и грандиозных катастроф, яркого предначертания и последнего часа – моего собственного последнего часа. Свой идеальный уход из жизни я видел драмой, уготованной странными знаменами, обрисованной снами-наваждениями, возвращенной в атмосфере тонкого страха – но давшей стремительные взходы, как какой-нибудь ядовитый гриб в запущенном подвале; и ставил эту драму чудовищный бог-смертоносец, управлявший всем из-за кулис. Люди и звери вступали в союз с великим Цинофоглисом, нужные части сами вливались в единое целое, и водоворот разобщенных сил достигал апогея, лишь обретая противоестественное единство; так мог ли я не желать того же – неизбежного освобождения от самости? Спасение увидел я в крушении плоти дланью темного бога, в экстаичном избавлении от уз бренного тела – пока другие канут в смерть, как в темный колодезь, – я воспарю к ней.

Но откуда взялся сей разрушительный порыв? Сейчас, очнувшись от очередного дурного сна, я сам себе дивлюсь. Возможно, я слишком раскаиваюсь в своей молитве и пытаюсь успокоить себя самой неспособностью найти ей рациональное место в истории Вселенной. Одно лишь воспоминание о моем приключении и бреде, я надеюсь, поможет мне пережить годы и годы, хоть бы для того, чтобы подготовиться к финалу бесплодных болезненных метаний. К тому времени я, возможно, забуду Бога, с которым столкнулся, и его утомленного жреца. Оба, кажется, исчезли из коммуны, их храм пуст и заброшен. И теперь сдается мне, что не сам я явился в коммуну, чтобы встретиться с Богом, а Бог возжелал встретиться со мной.

Прочитав эти почти уже забывшиеся слова, Артур Эмерсон в полной тишине отложил дневник и стал думать. Получается, это конец? Все предзнаменования и вестники рока собрались кругом – и за дверью библиотеки, где раздавались человечески-звериные шаги, и за окнами, где нечто чудовищное и бесформенное вышло из пелены мглы и просочилось за ограды стен и окон, словно те тоже были не более чем туманом. Неужели теперь, перед лицом конца, он все еще испытывает страх, возмущение, оторопь? Ведь он сам себе навязал эту мысль о неотвратимости смерти, словно молодой авантюрист, уверовавший как в панацею в странствия по миру и посещение туристических аттракционов.

И теперь с озера неслись крики лебедей, прошивая туман, проникая в дом и заполняя все вокруг. Как скоро его собственный вопль присовокупится к ним? Пришло ли время непознаваемой и великой Судьбе одолеть его? Значит, так все обычно происходит в мире, где всем пра-

вит Рок? Мыслями Артур обратился к мертвым животным в подвале – их телами был выстлан некий извилистый путь, совсем как тот, что он прошел в итальянской коммуне, навстречу гибельной молитве. Теперь все обрело смысл.

Рискуя навлечь обвинения в невоспитанности, Артур Эмерсон не встал из-за стола и не поприветствовал гостя, которого сам так давно пригласил.

– Вы опоздали, – сказал он сухо. – Но раз уж вы взяли на себя труд...

И Бог, как послушный раб, сошел на свою жертву.

Лишь теперь, в самом конце жизненного пути, неспособность удивляться оставила Артура Эмерсона. Как он и предчувствовал – и, быть может, даже желал, – его отчаянный вопль взаправду смешался с криками лебедей, пронзающими густой туман.

Ангел миссис Ринальди

В детстве меня порой посещали удивительные сны, столь жестокие и реальные, что покидал я их, крича от страха. Потом, конечно, я засыпал снова, истощенный всеми этими ночными мытарствами души. Со временем я получил жестокую тренировку благодаря своему ночному образу жизни с его видениями, одновременно прозрачными и запутанными. Вся эта активность, пусть и совершенно нематериальная, подточила мои силы и лишила всех радостей полноценного сна. Тем не менее пусть мне и не хватало естественного отдыха, я кое-что приобрел взамен: ужасающее изобилие сна, богатый, разросшийся мир, вскормленный истощением плоти. По сути, целую вселенную. Любое другое измерение по сравнению с ней казалось несуществующим, в лучшем случае пропастью на плодородном кладбище жизни.

Мои родители, само собой, думали на сей счет иначе.

– С ним что-то не так, – слышал я полный упрека голос отца с первого этажа.

– И с каждым днем все хуже, – вторила ему мать за дверьми моей комнаты. Однажды она добавила шепотом: – Мы должны предпринять что-нибудь.

По тому, как звучал ее голос, я понял, что речь не о визите к врачу, на чем давно уж настаивал отец, а кое-что пусть более сомнительное с точки зрения здравого смысла, но зато явно куда более уместное в моем случае. Мать не чуралась суеверий, а мой сонный недуг лишь укрепил ее веру в них.

По глазам ее было очевидно, что беспокоится она и по поводу собственных снов. В них она тоже сталкивалась с потусторонним, поэтому круг ее друзей-эзотериков и всяких толкователей запредельного был столь широк.

– Отец завтра рано уйдет на работу, – предупредила она. – А ты в школу не пойдешь – я свожу тебя к одной моей знакомой.

И верно, на следующее утро мы с матерью отправились в один из близлежащих районов и вошли в дом. После вежливого приглашения мы уселись в гостиной миссис Ринальди, вдовствующей вот уже много лет кряду. Быть может, устав от беспокойных снов, я никак не мог собраться с мыслями – комната, достаточно ярко освещенная, плыла у меня перед глазами, очертания убранства размывались, будто на картину акварельной краской кто-то пролил воду. Не рассеивала эту мглу и большая приглушенная лампа, стоявшая включенной возле дивана, на который сели мать и миссис Ринальди. Меня усадили в мягкое кресло рядом, и очертания всего вокруг стали такими же мягкими и лениво-неопределенными – будто во сне, где все преисполнено ощущением бредовости и небыли, рано или поздно растворяясь под пристальным взглядом. Комната казалась аккуратной – и картины тут висели очень прямо, плотно прилегая к стенам, и статуэтки на полках были поставлены не кое-как, а согласно определенному, пусть и слегка пыльному, порядку. Тут были и дорогие нарядные скатерти, и нежные цветы в маленьких вазах из цветного стекла. Но все-таки существовал неуловимый изъян в равновесии всех этих вещей, словно были они чувствительны к малейшему внезапному тревожению, словно

тайная связь, что даровала им единство, была очень хрупкой. Непостоянство это ощущала и сама миссис Ринальди – на деле же, возможно, являлась его причиной.

А вообще, представляла она из себя типичную старушку из тех, что обычно говорят с сильным акцентом, берегущую свои простенькие старушечьи секреты, в простом сером «хозяюшкином» платье. Разве что манеры ее как-то противоречили образу чинной бабушки из провинции: по большей части миссис Ринальди молчала, тихо сложив руки на груди и уставившись на что-то невидимое выплывшими глазами. Худоба и бледность заставили меня заподозрить, что нечто угнетает миссис Ринальди, вытягивает из нее все силы, делая беззащитной пред лицом всяческих внешних невзгод. И пока мать объясняла ей мою проблему, она будто сама становилась все больнее и беспокойнее. Похоже, что ее одолевали те же мысли, от которых она пыталась избавиться себя и других на протяжении многих лет.

– Моя дорогая, – обратилась миссис Ринальди к матери, глядя при этом мне в глаза. – Я хотела бы препроводить вашего сына в другую комнату. Может, я и смогу ему чем-то помочь.

Мать согласилась, и мы с пожилой женщиной зашагали по коридору к задворкам ее дома. Комната, куда мы вошли, напоминала своим видом маленький склад с уймой заваленных настенных полок и ящиками-коробками на полу. Собственно, ничего другого и не наблюдалось. Окно было плотно зашторено, сирая лампочка без абажура, свисавшая с потолка, выступала тут в роли единственного источника света.

Сесть тут было негде – разве что прямо на голый пол. Миссис Ринальди взяла меня за руку и вывела на середину комнатки. Смерив меня строгим взглядом, она начала обходить меня по кругу.

– Знаешь, что такое сны? – тихо спросила она и сама же ответила: – Сны – по сути своей, паразиты души и разума. Ими они питаются словно падалью, как самые настоящие трупные черви. Стоит разложиться душе – неминуемо страдает тело, а там уж и его гибель не за горами. Душа, разум и тело взаимосвязаны и неразделимы. Вообще все в мире связано – даже самые, казалось бы, далекие вещи. Так вот, не найдя подпитки в своем мире, сны могут вторгнуться в твой и отнять его у тебя. Каждую ночь превратить в изнурительный ад. Сил у тебя будет все меньше и меньше, ты все больше и больше будешь понимать, что знакомые лица – лишь маски для *них*, а привычные вещи – игрушки в *их* руках... а потом и сам станешь просто еще одной *их* личиной. Иные люди очень слабы, ими *они* вертят без зазрения, как хотят. Всякий годен *им* для игрищ, и так было испокон веку – ибо начало свое обретают *они* в прошлом, там, где помраченный и безотрадный сон всех ныне сущих миров вдруг прервался. И эти твари, которых мы зовем снами, мечтают затащить нас в первобытный мрак и там, беспечно дремлющих, высосать досуха. Ночь за ночью, пядь за пядью твари эти отчуждают нас от самих себя, от неподдельного положения вещей. Я очень хорошо знаю, как это происходит, какую угрозу таят в себе сны. Они соблазняют нас чудесами, истощают и в конце концов убивают. А ты, дитя, – просто еще один из поддавшихся соблазну.

Вот так, несколькими словами, миссис Ринальди не только открыла мне другую часть своего характера, совершенно непохожую на спокойную мудрую старушку, знакомую моей матери, но и позволила взглянуть гораздо глубже на то, о чем я лишь догадывался, пока не попал в эту комнату, где было тесно от сундуков и странных коробок, а у стен возвышались огромные шкафы, где повсюду виднелись закрытые двери, ящики и плотно сидящие крышки, где было заперто столько разных вещей.

– Само собой, – продолжала миссис Ринальди, – полностью от них ты никогда не отделаешься. Но отвадить сны до такой степени, что вреда от них не будет, тебе вполне по силам. Под конец твоей жизни они все равно восторжествуют, принеся вечный покой. Но вечной жизни тебе уж не видать. Именно отравы снов – та причина, по которой не можем мы стать ангелами, чистыми и невинными созданиями, чья жизнь непрерывна. Именно из-за снов нам дано столь малое число лет, полных горечи и безумия. Может, ты ни слова сейчас не понял – большего

я сказать тебе все равно не могу; да вот только не значит это, что ты сдашься им раньше отведенного тебе срока.

Закончив, миссис Ринальди неподвижно застыла, ее дыхание было чуть затруднено. Признаться, ее теории заинтриговали меня, по крайней мере, настолько, насколько я их понял. Временами ее воззрения на значение и механизмы снов были основаны на довольно спорных предположениях, чрезмерно диковинных в их отступлении от древнейших законов мироздания. Тем не менее я решил не сопротивляться тем практическим выводам, к которым она пришла благодаря своим идеям. Сама же миссис Ринальди пристально наблюдала за моим маленьким телом, словно ясновидица, оценивающая мое присутствие: она как будто была не уверена в безопасности следующего шага.

Наконец, отринув сомнения, она направилась к высокому шифоньеру. Выудив из обвисшего кармана платья ключ, отперла дверцу. На полке стоял графин тонкого стекла, наполовину залитый рубиновой жидкостью, похожей на вино, а рядом с ним – широкий бокал. Правой рукой подцепив последний, миссис Ринальди протянула его в мою сторону и велела:

– На, возьми и сплунь сюда.

Я послушался. Поверх моей слюны старуха плеснула рубинового питья из графина, который после вернула в шифоньер и затворила дверцу. Бокал переключал мне в руки.

– Теперь становись на колени, прямо на пол, – сказала она. – Не пролей ни капли и не вставай, пока я не скажу. Я погашу свет.

Миссис Ринальди, как оказалось, превосходно ориентировалась в темноте. Я слушал, как постепенно отдаляется звук ее шагов. Слышал, как она открыла какой-то другой, не тот, что ранее, шкаф – или то был уже сундук? Да, наверняка – зашкрипели петли, тяжелая крышка нехотя подавалась под напором слабых старческих рук. Откуда-то вдруг пришел сквозняк – в темноте меня обдало будто бы слабым ветром, не несшим в себе ни тепла, ни даже холода.

Миссис Ринальди подошла ко мне – теперь она двигалась куда медленнее, словно в руках несла нечто тяжелое. Она села, вздохнув, и я услышал, как что-то царапнуло пол неподалеку от того места, где я стоял на коленях, но темнота не позволяла мне разглядеть, что именно.

Но вот тонкий луч света прорезал мрак, и я увидел, как миссис Ринальди осторожно приподнимает крышку продолговатого низкого ларя. Чем шире становился зазор, тем ярче разгоралось поначалу бледное и прерывистое сияние, чей источник, похоже, покоился на ларцовом дне. Нутро ларя дохнуло белым паром, отчего воздух в комнате покособился и пошел волнами, словно над раскаленным горнилом: эфемерные шупальца расползлись по сторонам, как будто желая вобрать сумрак комнаты в порождавший их незримый светоч – яркий и великолепный, совершенно точно не принадлежащий этому миру, делавший свое вместилище бездонным на вид. Очарованный, я не сразу внял настойчивому старческому шепоту – миссис Ринальди велела, чтобы я поставил бокал, что держал в руках, в ларец. Осторожно занеся руку над облаком испарений, снизу подсвеченным флуоресцентными сполохами и выглядящим отчего-то не то наэлектризованным, не то сдобренным мелкой бриллиантовой пылью, я весь подобрался в ожидании какого-нибудь странного ощущения или чувства.

Но нет – поставив бокал на дно ларя, неглубокое и вполне себе материальное, я не почувствовал ровным счетом ничего. Кожа на ладони будто утратила чувствительность в принципе. Энергия ощущалась, но какая-то статичная, застойная, проистекающая в черное никуда из абсолютного ниоткуда. Будь у нее голос, она бы мягко и монотонно вещала о покойных орбитах одиноких планет, свободных от проявлений смертной жизни облачных чертогах и стерильности безбрежной Вселенной.

После того как я поставил бокал с алой жидкостью, смешавшейся с моим одиноким плевром, в ларь, свет внутри на мгновение приобрел розовый оттенок, но потом вернулся к первоначальной искристой белоснежности: подношение было принято.

– *Атеп*, – прошептала миссис Ринальди и осторожно опустила крышку на место.

Комната снова погрузилась во мрак. Я слышал, как старушка ставит ларь – чем бы они ни был – в кладовку. Разобравшись со всем, она зажгла верхний свет.

– Теперь можешь вставать, – велела она. – Отряхни колени, ты испачкался.

Когда я закончил обмахивать пыль с брюк, миссис Ринальди стала расспрашивать меня, все ли я понял правильно. Я-то думал, что за этим вопросом последует приказ вообще ни о чем не спрашивать или забыть увиденное, но вместо этого миссис Ринальди молвила:

– Теперь ты почувствуешь себя лучше. Но никогда не пытайся узнать, что находится в том ларце. Не желай ничего сверх того, что уже получил.

Моего ответа она ждать не стала. Будучи мудрой женщиной, она сознавала, что в такого рода вопросах нельзя верить словам и громким клятвам, пусть даже и данным искренне.

Когда мы покинули дом миссис Ринальди, мать спросила, что со мной было, и я тут же детально пересказал ей все увиденное. Она явно колебалась, не зная, верить мне или нет, – то, что методы миссис Ринальди далеки от традиционных, для нее секретом не было, но и о моем чересчур богатом воображении она тоже знала. Хотя она ведь сама привела меня к старухе – не логичнее ли было поверить? В любом случае после того, как я обо всем поведал, мать лишь молча кивнула, ну а что до ее удивления – его в любом случае было никак не спрятать.

Замечу, что вера матери в мощь миссис Ринальди нисколько не поколебалась. День, когда мы побывали у старушки, стал важной вехой в моей жизни. Даже отец заметил, как я изменился – и в плане снов, и во всем, что касалось бодрствования.

– А парень-то наш стал спокойнее, я гляжу, – сказал он как-то матери.

Он был прав – постигшее меня умиротворение разительно отличалось от всего того, что я испытывал в жизни раньше. Отныне каждую ночь я спал спокойно, почти не сменяя постель. Сны мне все еще снились, но тревог от них было – что от жалких пенных барашков на спокойных морских водах, неспособных нарушить неколебимое величие огромных, лишенных ярких красок водных просторов. Порой во сны мои вторгались чьи-то силуэты, зыбкие как дым, но они, будучи лишь последками воспаленного воображения, не могли покуситься на укутавший меня обескураживающий покой.

Мои дневные переживания, несмотря на всю их смутность, представляли значимо больший интерес. В школе, просиживая часами за партой, я час-тенько глядел за окно на плывущие по небу облака и солнце: на моих глазах день разгорался и сходил на нет, посылая прощальные лучи света сквозь кофейную гущу туч. Но теперь меня не посещали странные образы или идеи при виде этого зрелища – я просто смотрел, внимал чему-то глазами без должного осмысления. Разум отчаянно пытался составить для меня какую-то впечатляющую картину, некую страшную, но красочную сцену, но как облака занавесом опускались на очередной лишенный чувств и эмоций день, так и веки мои лишь смежались, сообщая уставшим глазам, что поиски этой сцены беспочвенны. Я пытался нарисовать нужный образ, давая карандашу полную свободу в попытке выяснить, знает ли мое воображение чуть больше, чем знаю я сам, но из-под грифеля выходили одни только бесчисленные наброски ларя, хранящегося в доме у миссис Ринальди.

И все же мне грех было жаловаться – кошмары пропали, с души ушел тот связанный с ними странный груз, что я носил так долго. Все мое естество будто очистилось: душа, омытая изнутри, ликовала от радости и облегчения, обретая ясность и истинную добродетельность. Но счастье – всегда лишь момент; жившие во мне темные начала вдруг вновь дали о себе знать, стаяй голодных волков рванувшись из своих укрытий, куда их загнали насильно; стаяй волков, учуявших желанную, изведенную уже разок дичь.

Сны пока еще были слишком слабы, анемичны, чтобы доводить меня до истощения, как раньше. Они не могли отъять у меня память, эмоции, всю тончайшую параферналию⁷ личной жизни, дабы на их материале выстроить новые вредоносные формы и вражеские оплоты.

⁷ Параферналиа (от греч. Παράφερνα) – здесь: совокупность отличительных черт.

Миссис Ринальди была права, называя их паразитами – но лишь отчасти. Она не принимала во внимание (или не желала принимать?), что сновидец тоже может извлекать из них пользу: якшанье с ними сулило совершенно уникальный опыт познания, которого с лихвой хватало, чтобы заполнить и всякую ночь, и пустой сосуд следующего за ней дня. Но эта функция у моих снов отмерла, они больше меня не удовлетворяли – не утоляли разыгравшийся аппетит ко всему абсурдному, жуткому и даже порочному. Видимо, это отсутствие и сказалось на самой природе моих сновидений.

И тогда я вновь окунулся в былой водоворот нервозности и беспокойства. Теперь я научился видеть осознанные сны и выходить за сценарии, навязанные моими паразитами, – переход всякий раз сопровождался появлением густого тумана, обелявшего горизонты каждого нового видения. Туман этот явственно стремился вобрать в себя все, растворяя искристой хлористой взвесью небеса и тверди – он один был яростен, а сны влачили на себе отпечаток серости, ветхости и безыскусной пошлости.

В самом последнем таком сне я бродил среди неких руин, будто восставших со дна океанической бездны. В этом сне, как и во многих ему предшествующих, все выглядело знакомым, хоть при этом и явно чего-то не хватало – быть может, тех полуразрушенных твердынь, что на мгновение вставали перед глазами сразу перед пробуждением? Или тех ларцов, раздутых изнутри, словно утопленники, некой запрятанной в них силой? Со всех сторон меня обступали шифоньеры и шкафы из подсобки миссис Ринальди – но все мои попытки зафиксировать и осознать их образы приводили к тому, что пейзаж сна, словно пожираемый гнилью из самой своей сердцевины, терял остатки четкости, и вскоре я уже бесцельно бродил в искристом клубящемся едком тумане, растворившем все и вся.

И лишь потерявшись в этой мглистой пустоте, я заново обрел истинный смысл моих ночных видений – первичный ужас, заложенный в них. Меня будто сбросили в колодец, где омут снов был пленен; все, что видел я до этого, приносилось лишь слабыми токами, просачивавшимися чрез трещины в его стенах. Не знаю, что это было за место – может, утроба всех сновидений в принципе, некий сновидческий аванпост самой Вселенной, а может... может, просто нутро ларца, припрятанного в доме одной старой женщины. Ведь в ларце том существовало нечто пречистое – некая эфирная жизнь, свободная от пороков физической формы и знания, освобождающая всех к ней причащенных от скверны своей стерильной благодатью.

Именно здесь ощутил я, как границы сна расширяются, достигая безмянных сфер. Именно здесь я обнаружил, что утраченные сновидения поныне живы и здравствуют. Поглощенные этим бесплотным паром, подпитанным взвесью алого вина и моей слюны, они пребывали здесь, изъятые множества невольных хозяев, чьи умы служили им некими съёмочными площадками, реквизитными залами для создания пугающих и тревожных образов. Здесь пребывали они, паразиты, заставлявшие сновидцев играть роли одновременно и свидетелей, и соучастников множества наглых хищений воспоминаний, эмоций, личных переживаний. И мотив у всех этих краж был один – создание яркого сна, полного лживой и преходящей неги.

Здесь, в этой кристаллической стерильной тюрьме, сведены они были к изначальным своим состояниям – безвредным абстракциям, безликим и бесформенным пережиткам древности, которые открыла мне миссис Ринальди. Но даже без знакомых мне ярких личин они были узнаваемы, ощутимы по факту присутствия. Я здесь был чужаком, слишком обремененным самостью, вызывающе конкретным – и потому они давили на меня, стремились отсюда вытеснить.

И давление это усиливалось, и лишь ангельская мгла защищала меня от того, что жаждало заполучить мой ум и душу, мое *самосознание*. Но вместо того, чтобы укрепить оборону, я сдался на милость этой ненасытной осады, предлагая свое «я» тому, у чего «я» никогда не было, жертвуя все сокровища моей жизни этой своре голодных абстракций.

И тогда бескрайняя белизна взорвалась многоцветьем бесчисленных лиц и форм, и пустое небо вдруг стало судорожно сочиться ярчайшими радугами, и так – до тех пор, пока все нутро светоносного колодца не заполнилось густым исступленным хаосом. Все цвета поспешили слиться в один – цвета лишенной разума ночи древних времен. И я, чувствуя, как тону в этом мраке, отчаянно закричал...

...и проснулся.

На следующий день я стоял на крыльце дома миссис Ринальди и наблюдал, как мать мучает дверной молоток. Старуха не спешила открывать, но нервная тень в окне, замеченная нами ранее, выдала ее присутствие в доме. Наконец дверь таки отворилась, но открывшая ее предпочла не выходить, оставшись по ту сторону.

– Ведите своего ребенка домой, миссис, – обратился к нам ее голос. – Ничего тут уже не поделаешь. Я ошиблась в нем.

Мать что-то сбивчиво стала объяснять про «возобновление болезни», даже потянула меня за руку внутрь, но голос остерег ее:

– Не входите. Негоже вам сюда входить, да и я сейчас не в лучшем виде.

Гостиная, какой я увидел ее с порога, катастрофически переменилась – ее хрупкое бывшее равновесие кануло без остатка, уступив разобщению, разъединению, расстройству. Нарушились пропорции, умерла гармония – я как бы наблюдал комнату в кривом зеркале, смотрел сквозь мутное стекло.

Потом, лишь мельком, я увидел и саму миссис Ринальди. Ее некогда бледное лицо позеленело, желтоватыми стали слезящиеся глаза – теперь в старухе было что-то от заживо гниющей рептилии. Едва рассмотрев ее, мать сразу умолкла.

– Ну теперь-то вы уйдете? – спросила миссис Ринальди. – Раз уж я даже себе не могу помочь, как я помогу вам? Ты все понимаешь и сам, мальчик. Все эти годы сны меня не трогали. Но ты с ними уже повстречался – я-то знаю. Я ошиблась в тебе. Ты позволил им отравить моего ангела. Это был ангел, понимаешь теперь? Свободный от тягот мыслей и сновидений. А ты заставил его думать и видеть сны, и теперь он умирает – не как ангел, но как дьявол. Хочешь увидеть, что с ним стало из-за тебя? – Она махнула скрюченной рукой на лестницу, что вела в подвал. – Да, теперь он там – ларец больше не вмещает его. Он обрел тело дьявола и на своих дьявольских ногах уполз туда, в подпол. Он видит сны, и они его убивают. И я теперь тоже вижу сны – и они убивают меня.

И миссис Ринальди подалась вперед, ко мне. Цвет ее глаз и лица стал меняться. Не знаю, чем бы все кончилось, не схвати мать меня за руку и не потащи прочь. Я обернулся лишь раз – старуха застыла в дверях, показывала на меня трясущимся пальцем и кричала:

– Дьявол! Дьявол! Дьявол!

Вскоре до нас дошло известие о смерти миссис Ринальди. Как она сама и предсказывала, сны-паразиты убили ее, хотя соседи все как один заявляли, что ее сточил осложненный рак. А еще ходили слухи о том, что в доме была еще одна жилища, преставившаяся вскорости после ухода самой Ринальди. Об этом я узнал от одноклассников – хоть родители и строго-настрого запретили им ходить туда, они якобы пробрались в дом «старой ведьмы» и там своими глазами увидели «мерзкую голую тварь, расхристанную, словно куча жуть каких грязных мокрых тряпок».

Но мне она снилась. Мне даже снились ее сны, я видел, как они растащили каждую ангельскую частицу этого чудесного создания, увлекая их во тьму первозданных времен. А потом кошмары ослабели – так было и будет всегда, ведь мой мир им нужен не постоянно – мою жизнь они постепенно растворяют в своей.

Часть вторая Трактат о тьме

Тсала

1: Возвращение в Мокстон

В ту ночь всем им было невдомек, зачем они возвратились к оголившимся костям города-остова. Кто-то добрел до центральных улиц, где на перекрестке, подобно свечному фонарю, висел светофор, давно уже не горевший. Явившихся одолел некий ступор: все как один застыли неуместными силуэтами-пугалами, чьи поизношенные одежды свободно болтались на исхудавших телах. Мало-помалу примкнули к ним и все остальные, задержавшиеся в пути, подтягиваясь с окраин, оставляя припаркованные в подворотнях машины и другие средства передвижения. И вот, в свете угрюмого серого дня, их воссоединение наконец-то свершилось.

Они казались слишком утомленными для разговоров. Какое-то время они даже не понимали, где находятся, не узнавали окружающих очертаний и строений. Их взгляды были отмечены стигмами бессонницы – болезненно-долгие, сосредоточенные и в то же время будто бы максимально отрешенные от всего. Даже серость дня на фоне серости их лиц с заострившимися чертами выглядела насыщенно. Все они собрались перед местом, что было ими некогда покинуто. Теперь, незнамо почему, пробил час возвращения. С ними не сбежал лишь один человек – он остался в городе-остове. И вот они вернулись к нему – никто не мог сказать зачем, никто не ведал, как же так вышло.

Высокий бородатый мужчина в шляпе с прямыми полями взглянул на небо. Сквозь облака уже просачивался сумрак ночи – возможно, самой темной в этом году, еще не виданной черноты.

– Смеркается, – произнес он какое-то время спустя. Не слово, не звук – лишь тихий полувздых-полушепот; на большее сил не хватало. Но его, как и всех остальных, от уже второго исхода из города удерживала отнюдь не усталость.

Никто здесь не мог сказать, как долго шел до этого места, казалось бы навсегда покинутого. Никто не помнил, что заставило его пересмотреть взгляды на эвакуацию из города – какое обстоятельство, какой жизненный тупик. Часть того дня стерлась из памяти всех этих беженцев, оставив после себя лишь галерею разбитых образов, осязаемую умом – но не подлежащую воскрешению, повторной сборке в памяти. Все были уверены, что узрели что-то, о чем лучше не помнить. Никто не предлагал уйти из города, но никому не хотелось здесь оставаться.

Душевный паралич – состояние, ведомое лишь тем, кто взошел на последнюю ступень безумия, истинным аристократам сумасбродства, не отличающим кошмар жизни от кошмара сна, – довлел над этими людьми. Вскоре давящий эффект этого психического окостенения стал невыносим даже сильнее, чем перспектива остаться в городе-остове. По крайней мере, одна из этих каталептических марионеток, худая словно жердь женщина, произнесла:

– У нас нет выбора. Он остался *у себя* дома.

Раззадоренный ею, чей-то голос – обладатель его был не на виду, – выкрикнул из толпы:

– Он пробыл там слишком уж долго!

По улице прокатился внезапный порыв ветра, развевая побитые одежды явившихся, раскачивая светофор, висевший над их головами. На мгновение все три сигнала по всем направлениям вспыхнули, растревоживая насыщенное марево сумерек. Цвета загорелись на стенах

зданий. Неожиданно яркие, вспыхнули в окнах блики. И вдруг – снова сумерки, снова – неко-
лебимая серость; игра света утихла.

Мужчина в шляпе заговорил опять, напрягая ослабшие связи:

– Отдохнув, мы должны будем встретиться снова.

Изможденная толпа стала молча рассасываться. Старуха, еле-еле волочившая ноги по
тротуару, пробормотала, ни к кому конкретно не обращаясь:

– Благословенно будет семя, навек посеянное во мрак.

Кто-то, услышав эти слова, повернулся к женщине и спросил:

– О чем это вы, миссис?..

Но старуха смотрела растерянно – она была уверена, что не сказала ни слова.

Вскоре жители Мокстона попрятались по домам, и центр городка опустел. Редкие фонари
бросали свет на мрачные фасады зданий – лавки с мелкой торговлей, скромный ресторан, цер-
ковь, по которой едва ли опознаешь конфессиональную принадлежность, и даже кинотеатр,
за которым последние несколько недель никто не присматривал. Округа вся была застроена
типичными для городов-остовов многоквартирниками. Они возвышались на фоне притихшего
неба как неотесанные сосновые гробы, полные всякой чепухи. Лишь орбита мертвой звезды
могла бы посоперничать со здешними ландшафтами тишиной и запустением. Зато тишина в
городе царила такая, что сюда доносились звуки с невероятных расстояний. А неподвижность
этих домов и узких улочек влекла взор к поразительно отдаленным местам.

Несмотря на неприглядность домов и улиц, составлявших узор города-остова, иные его
уголки хранили атмосферу интригующую и преисполненную тайны. Чаще всего сами насель-
ники этих уголков ничего необычного не примечали. К примеру, некоторые дома всегда сто-
яли не в конце улицы, а сами и являлись ее концом. Их архитектурный стиль всегда отличался:
они были либо выше своих соседей сами по себе, либо венчались чувствительными к непогоде
высокими флюгерами. Но, быть может, самое примечательное качество таких домов заключа-
лось в том, что там уже долгое время никто не жил, и поэтому напоминали они пустые сосуды,
в коих дивное запустение узких улиц и серых жилищ дистиллировалось абсолютно волшебным
образом, словно алхимическая эссенция. Похоже, то была часть градостроительного замысла
– все улицы венчать такими вот домами-изгоями. Но никто из жителей города в свое время
не ожидал, что однажды явится мужчина с волосами цвета яркой меди – и откроет один из
таких домов своим ключом.

2: Оставшийся

В доме, где проживал Рэй Стантс и все его предшественники, Эндрю Мэнесс поднялся
по лестнице на верхний этаж и вошел в небольшую келью, что служила ему местом изысканий
и размышлений. Из окна кельи открывался вид на крыши Мокстона и улочки вдаль. На глазах
Эндрю все жители оставили город, под его же пристальным взором – вернулись обратно. А
сейчас он смотрел, как ярко вспыхивают в ночи окна – все неудавшиеся беженцы уединялись
по своим углам.

Отвернувшись от окна, Эндрю взглянул на толстую книгу, лежавшую на столе в несколь-
ких шагах от него. Та была раскрыта, демонстрируя страницы – коричневые и тонкие, как
опавшие листья.

– Дикие слова твои оказались правдой, – произнес он вслух. – Мои друзья не успели уйти
далеко – что-то притянуло их обратно против их воли. Тебе ведомо, что это было, а мне оста-
ется лишь догадываться. Столь много сторонних вещей в тебе описано дотошно и с упоением,
а вот на главный вопрос ты ответа не даешь. Как говорят твои страницы, «и самый последний
зрительный образ гибнет тогда и только тогда, когда гибнет тот, кто его запечатлел. Благосло-
венно будет семя, навек посеянное во мрак. Оттуда, из мрака, грянут его всходы».

Подойдя к столу, Эндрю Мэнесс закрыл книгу. На ее обложке темными чернилами было выведено слово «ТСАЛАЛ».

Он оглядел келью. Та больше не казалась ему такой маленькой, как ранее – как в ту пору, когда они жили в этом доме вместе с отцом. Так давно это было – вряд ли кто-то в городе еще помнит. А он все же помнил, пусть и не все. Усилием мысли он воскресил маленькую кровать в дальнем углу кельи – зыбкий ее образ из глубин памяти.

В детстве, просыпаясь по ночам, он сразу замечал, как велика освещенная луной комната – столь велика, что он в ней буквально теряется. Тени делали ее безграничной, они впускали внутрь чернильный мрак бездны, на дне коего таились вещи недоступные человеческому взгляду. В такие моменты казалось, что все вокруг начинало изменяться, и он чувствовал, что сам каким-то образом *причастен* к этому. Тени на бледных стенах начинали извиваться как клубы дыма, создавая темный водоворот, пузырящийся знакомыми очертаниями – примитивная облачная зоология – и истончающийся в туманное ничто. Дымчатый сумрак захлестывал и переполнял келью.

Он осознал, что может видеть нечто, отбрасывающее эти тени, неспешно, плавно преобразующие свою форму множеством причудливых способов. Свет луны проливался на подсвечник, стоящий на тумбе у кровати, – когда он задул свечу несколько часов назад, от нее оставался лишь малый огарок. Но теперь то, что было свечой, вздыбилось и расцвело, словно некий фантастический цветок, прорастающий в мгновение ока: в воздух поднялись восковые жгутики и лозы, за ними – маленькие крылышки и бледные ручки с тонкими восковыми пальчиками, и следом – какие-то еще придатки и конечности, не поддающиеся описанию.

Глянув через келью, Эндрю увидел, как что-то расхаживает взад-вперед на заводной манер по подоконнику. Собственно, когда-то это и была заводная игрушка – деревянный солдатик, но теперь он отрастил клешни, похожие на крабы, и скреб ими по оконному стеклу. Эндрю видел, как и все остальное убранство, едва различимое в темноте, меняется, – и понимал, что именно от него исходит какая-то сила, что делает возможной все эти метаморфозы. Вот только остановить их он никак не мог – в этом и крылся ужас, дьявольский апокалипсис.

Только почувствовав, что отец трясет его, пытаясь разбудить, Эндрю понял, что кричал во сне. Вскоре он пришел в себя и успокоился. Свеча на тумбе у кровати горела теперь куда ярче, чем пару минут назад. Эндрю оглядел келью, убеждаясь, что больше ничто не изменилось. Деревянный солдатик мирно лежал на полу, вытянув ручки по швам.

Эндрю посмотрел на отца, сидящего на кровати, одетого в ту же одежду, в которой тот служил в церкви утром. Иногда он заставал его дремлющим в одном из кресел в гостиной или клюющим носом за рабочим столом в своем кабинете, над новой проповедью. Эндрю не мог припомнить, чтобы видел отца спящим ночью.

Преподобный Мэнесс обратился к нему по имени – шепотом, будто в доме они были не одни и кто-то мог их подслушать, – и Эндрю взглянул отцу, немолодому мужчине в короне седых волос, все еще сохранивших призрак рыжины, в глаза, отгороженные от мира овальными стеклами очков, в коих отражалось тогда пламя одинокой свечи.

– Это произошло снова, Эндрю? – спросил отец.

– Я не хотел, чтобы так было, отец! – ответил Эндрю. – Я был... не в себе!

Преподобный Мэнесс понимающе кивнул головой и умолк. Пламя свечи, играющее на линзах очков, скрывало выражение его глаз. Он смотрел в окно рядом с кроватью сына.

– Тайна беззакония уже проявила себя, – произнес он.

– Это Послания, – поспешно сказал Эндрю, будто отвечая на вопрос.

– Ты можешь продолжить эту цитату?

– Думаю, да, – ответил Эндрю и торжественно продекламировал по памяти: – «И бесчинства ходят теперь по земле; но так будет, лишь пока не придет тот, кто положит сему конец; явится в мир попирающий законы, но Господь тогда уничтожит его».

– Ты хорошо знаешь текст этой книги...

– Библии, – сказал Эндрю, хоть ему казалось диким называть книгу не так, как значилось на ее обложке.

– Да, Библии. Ты должен знать ее текст лучше, чем любой другой. Ты всегда должен помнить Слово Ее как магическое заклинание.

– Воистину, отец! Ты всегда говорил так – и да будет так!

Преподобный Мэнесс вдруг вскочил с кровати и, нависнув над сыном, вскричал:

– Лжец! В эту ночь ты позабыл о Слове Божиим, а не следовало! Ты впустил в мир Попирающего Законы, а не следовало! Ты и *был* Попирающим Законы в эту ночь – но не должно быть так! На тебя возложен иной труд – труд Формодержателя, ликтора, аргуса!

– Прости меня, отец! – По щекам Эндрю поползли слезы. – Не гневайся на меня!

Уняв свою вспышку, преподобный Мэнесс несколько раз сложил и раскрыл пальцы открытой ладони, сотворив некий оберегающий жест. Отвернувшись от сына и медленно направился через келью к окну. Его взгляд углубился во мрак, накрывший городок Мокстон. С сыном они переехали сюда несколько лет назад. На главной улице его силами была возведена церковь, и близ церкви преподобный построил свой дом. Тень колокольни доставала до самого лунного шара, угольно-черная на фоне ночных облаков.

– Я построил высокую церковь, – промолвил Мэнесс, – чтобы отовсюду ее было видно. Я сложил ее из кирпича, чтобы твердо та церковь стояла.

Побродив в задумчивости по комнате, он снова подошел к изголовью кровати сына. Некоторое время преподобный провел молча, опустив взгляд, как если бы стоял на церковной кафедре и готовился к проповеди.

– В Библии говорится о Звере, – сказал он. – Тебе же известно об этом, Эндрю? Но знаешь ли ты, что зверь также и внутри тебя? Он живет там, где отсутствует свет. Да, он обитает здесь: в голове твоей – логово Великого Зверя. Он так прекрасен, что кажется, будто своим появлением на свет обязан какому-нибудь искусному магу, будто пришел из далеких мрачных мест, где никто никогда не бывал. Зверь есть кошмар, что остановит наши сердца, ежели мы будем долго смотреть на него или ежели случайно коснемся его скользких телес. Но никогда такого не случится, ибо Зверю должно оставаться в своем логове. Однако он достаточно силен, чтобы вырваться на свободу. Он творит миры, о которых мы не имеем ни малейшего представления. Зверь может изменить и наш мир. Тьма и свет, форма и цвет, небо и твердь – все это может извратить Зверь, великий преобразователь вещей зримых и незримых, ведомых и неведомых. Все, что мы видим и знаем, есть всего лишь пустые сосуды, которые Зверь наполнит новой тинктурой, изменив все окружающее, изменив черты самих теней, придав странный оттенок нашим дням и ночам, обратив день в ночь – так, что спать мы будем в часы бодрствования, а ночью никогда более не сможем сомкнуть глаз. Нет ничего более страшного и ничего более греховного, чем эти перемены в сути вещей. Нет ничего ужаснее этих перемен. Все трансформации ужасны. Сама возможность трансформаций ужасна. И Зверь – творец всех этих преобразований. Ты не должен более знаться со Зверем!

– Не говори так, папа! – закричал Эндрю, прижимая ладони к ушам, противясь всем дальнейшим словам осуждения. Но он услышал их – все равно.

– Ты раскаиваешься, потому что не читаешь Библию.

– Я читаю ее!

– Но ты не всегда держишь слово Божие в памяти, потому что читаешь иные книги – те, что тебе запрещены. Я сам видел, как ты листал их. Как тайком, будто вор, брал их с моих полок. Тебе не следует читать их, Эндрю.

– Зачем же тогда ты хранишь их? – крикнул он отцу, понимая, что вопрос каверзный, что не стоит его задавать, но – радуясь своему послушанию.

Преподобный Мэнесс обошел кровать. Глаза его были все так же недоступны за ярко-белыми от отражений свечного пламени стеклами.

– Я храню их единственно ради того, – произнес он, – чтобы ты выучился сам судить о том, что есть непотребство, и сразу отличать его, в какую бы форму оно ни облекло себя.

Какими же интересными казались Эндрю эти запретные труды! Он помнил, когда увидел их в первый раз – на верхних полках в библиотеке отца, той самой маленькой комнате без окон в самом сердце построенного преподобным Мэнессом дома. Эндрю узнал эти книги, как только увидел их, не по названиям, которые включали такие слова, как «*Тайна*», «*Образ*», «*Обряд*» и «*Тьма*», но, скорее, по характерному шрифту, напоминающему тот, что был в его Библии, а также по старым кожаным переплетам, будто сделанным из помутневшей кожи освежаванных осенних сумерек. Эндрю догадывался, что эти книги ему читать нельзя, еще до того, как отец открыто сказал ему об этом... но его все равно влекли те воображаемые миры, о которых говорилось там. Странное всегда манило его.

Познав запретную часть библиотеки отца и изучив множество заинтересовавших его томов, Эндрю стал создавать для себя некую карту описанного в них таинственного мира – где солнца вовсе не бывало на небосводе, где безымянные города утвердились посреди холода и мрака, где горы сотрясались от шагов живущих в них чудовищ, по лесам гуляли загадочные ветра, а на устах морей лежала мертвая печать неестественной тишины. Этот мир – или же целое множество миров? – стал являться ему во снах, столь живых и ярких, что любой вычитанный образ сразу мерк и казался наспех сделанным без старания и души наброском.

Иногда во сне он стоял на краю огромного ущелья, в кругу неведомых цветов, пред темнеющими очертаниями горных вершин, под звездным небом. Подобные величественные пейзажи часто возникали перед его глазами при чтении запретных книг, в которых порой попадались гравюры, иллюстрировавшие повествование. Но ни в одном труде не обнаруживалось для него то, что было явлено ему во сне, в небе над тем ущельем. Ибо во сне, что возвращался к нему позднее не единожды, яркие, лучащиеся в небе звезды вдруг начинали сползать со своих мест в безбрежной темноте неба. Поначалу они дрожали, а потом и вовсе переворачивались в своей ночной постели. Тогда он видел их другую сторону, видел то, что никогда не открывалось глазам земного существа. И оно напоминало изнанку крупных мшистых камней, какие иногда находишь, гуляя по лесным чащобам. Звезды менялись самым странным образом – менялись потому, что вся Вселенная изменялась, беззащитная пред пробудившейся глубоко в космической тьме силой, алчной до преобразования всего видимого – и при этом *всевидающей*. Теперь лики звезд, извращенные этой силой, взрыхлялись червеобразными тварями с раскаленным, как будто горнило, нутром. И эти огненные черви во сне Эндрю срывались со звезд и неслись к Земле, прорезая ночь пламенеющими хвостами, оставляя за собой ослепительные следы.

В те ночи сновидений все подчинялось силам, которые ничего не знали о законе или разуме, и ничто тогда не обладало собственной природой или сущностью, а было лишь маской на лице абсолютной тьмы, черноты, которую никто никогда не видел.

Еще в детстве он понял, что сны отражают не тот мир, что внушали ему отец и его Писание. Нет, явленное ему было продуктом иного творения, контртворения, и книги на полках библиотеки отца не могли открыть ему все то, что Эндрю желал узнать об этом другом бытии. Отрицая свое стремление перед отцом, а зачастую – и перед самим собой, он мечтал прочитать книгу поистине и во всех смыслах *запретную*, излагающую историю Вселенной во всех темных подробностях, без прикрас и метафор.

Но где же ее сыскать? На какой полке какого древлехранилища попадетсся она ему на глаза? Узнал бы он ее, если бы судьба позволила ей попасть к нему в руки? Со временем Эндрю уверился в том, что найдет нужную книгу – ибо в самых невероятных видениях он завладевал ей так, будто она принадлежала ему изначально и переходила в полноправное наследство. Но во всех снах, держа ее в руках и даже различая с удивительной ясностью слова на страницах,

смысла он не мог постичь – тот, казалось, растворялся в абракадабре. Во снах Эндрю никогда не мог разобрать, что именно должна была сказать ему книга. К его разуму она взывала на уровне лишь самых неясных и странных ощущений, только как своего рода присутствие, что вторгалось и овладевало его грезой. Пробуждения оставляли после себя эйфорический ужас – и именно тогда вещи вокруг него начинали преобразовать себя в угоду неизвестной силе, и душу Эндрю пятнал грех прельстивших видений, а разум переполняли обрывки нечестивого знания.

3: Создатель книги

– Ты знал, что все это бесполезно, – произнес Эндрю Мэнесс, смотря сверху вниз на раскрытую на столе книгу и внимательным взглядом изучая рукописные страницы. – Ты учил меня всегда читать правильные слова и всегда помнить их, но знал, что я смогу прочесть и другие. Ты знал, что я такое. Знал, что подобные мне существа живут лишь с целью читать запретные слова и желать, чтоб их вывели черной тушью на самих небесах. Ты сам написал эти слова, поэтому не мог об этом не знать: ты и есть создатель книги. И своего сына ты привел в такое место, где он непременно прочел бы твои слова. Ты совершил ошибку, поселившись здесь, и ты это прекрасно понимал... но продолжал убеждать себя, что только в таком месте свершенное тобой можно как-то обратить вспять.

Тебя страшило то, что ты содеял – при поддержке остальных. Годы напролет тебя интриговали высшие формы проявления безумия, самые омерзительные тайны и ритуалы... а потом ты начал бояться. И что же ты обнаружил, что так сильно запугало тебя и всех тех, кто разделял чудовищную правду, изложенную тобой в книге? Меня ты увещевал, что всякая метаморфоза таит в себе ужас, что сама способность к преобразению – симптом великого зла; но ведь в книге своей ты заявляешь, что *преображение – единственная истина*, что такую истину завещал нам Тсалал, Тот, кто за гранью закона и здравого смысла. *«Природа вещей мнима, – пишешь ты, – и нет никаких лиц, кроме масок, что плотно подогнаны к беснующемуся за ними атомарному хаосу»*. Ты писал, что в жизни этого мира нет истинного роста или эволюции, а есть только преобразования внешнего вида, непрерывное плавление и литье наружности, не затрагивающее сути. И, прежде всего, ты писал, что нет спасения ни одной живой душе, потому что нет живых как таковых, и ничто живое не подлежит спасению – все и вся существует лишь только для того, чтобы быть втянутым в медленный и бесконечный водоворот мутаций. Его мы можем наблюдать каждую секунду нашей жизни, если взглянем на мир глазами Тсалала.

Но даже эти твои непрестанно фиксируемые на бумаге истины не могли привести к столь великому страху – думаешь, от меня укрылось бы *восхищение*, с которым пишешь ты об этих вещах? Ты всегда поражался этому *Великому Стебу, Всеобщему Маскараду, мгле, что застилает глаза всем, кроме тех, кто избран Тсалалом*. Нет, о том, что тебя так напугало, ты либо не хочешь, либо не можешь говорить. На что же наткнулся ты в конце концов? Что заставило тебя отречься от всех последователей, переехать в этот городок и найти убежище в учении Церкви, которое ты никогда по-настоящему не разделял? И почему это открытие побудило тебя к бегству от него, если существовало оно только у тебя в памяти? Какие знания позволили тебе пророчествовать о том, что жители Мокстона вернутся сюда, но помешали рассказать, какое явление может быть ужаснее кошмара, от коего они сбежали, от тех преступных метаморфоз, что захлестнули здесь всякую улицу и всякий дом?

Ты знал, что место это непотребно, когда привез меня сюда ребенком. И я узнал, что это место непотребно, когда вернулся домой, в этот город, и остался здесь... пока все не узнали, что я пробыл тут *слишком долго*.

4: Седая женщина

Вскоре после того, как Эндрю Мэнесс вернулся в Мокстон, однажды посреди дня к нему подошла на улице седая как лунь старуха. Он стоял и смотрел в окно ремонтной мастерской, закрывшейся как-то слишком уж рано. Там, за стеклом, будто специально выставленные на обозрение, покоились на витрине проржавевшие детали – насколько Эндрю мог судить, то были останки выпотрошенного автомобильного двигателя. Его вывели из задумчивости слова старой женщины:

– Я вас уже видела раньше.

– Вполне может быть, миссис, – ответил он. – Я переехал в дом на Оукман-стрит пару недель назад.

– Нет, я видела вас гораздо раньше.

Эндрю слегка улыбнулся старухе и произнес:

– Я жил здесь, когда был еще ребенком, но не думаю, что меня тут кто-то помнит.

– Я помню эти волосы. Они рыжие... даже немного желтоватые, в зеленцу.

– Что ж, никого не щадит время.

– Я помню, какими они были тогда. Даже сейчас они почти не изменились. А вот я-то стала седой, как морская соль.

– Да, миссис. – Он не знал, что еще сказать.

– А я ведь говорила этим проклятым олухам, что помню. Но кто меня послушает! И как вас зовут, молодой человек?

– Меня, миссис...

– Спайкс, – назвалась она.

– Меня, миссис Спайкс, зовут Эндрю Мэнесс.

– Мэнесс, Мэнесс, – забормотала старуха себе под нос. – Нет, никаких Мэнессов я не помню. Вы же живете в доме Стантса...

– Тот дом на самом деле был куплен у одного из членов семьи мистера Стантса. У того, кто унаследовал его после смерти самого главы семьи.

– Раньше Уотерсы там жили. А до них – Уэллсы. До Уэллсов – Макквистеры. Но я их не застала. Или... или просто слишком долго вспоминать, кто там, перед Макквистерами, жил. Чертовски долго. – Повторяя эти два слова, старуха побрела по улице прочь. Эндрю Мэнесс смотрел, как ее худая, коронованная белизной седых волос фигура удаляется и теряет четкость среди серых помех города-остова.

5: Откровения причудливой души

С точки зрения Эндрю Мэнесса, мир делился на две части, которые можно было отличить друг от друга только с помощью «предубеждения души», – так он это называл. Где бы он ни находился, особое пространство открывалось ему с помощью ясновидческого дара, откликающегося на атмосферу вокруг, и Эндрю сразу понимал, правильное это место или нет. В первом случае он осознавал, что его ощущение себя и внешний мир вокруг отделены друг от друга, и это отрешение казалось естественным для всего человеческого рода. То были правильные места. Нет ничего тревожного в пустоте, пролегающей между внутренним «я» и явлениями, которые мы воспринимаем как существующие вне нас. Он не чувствовал угрозы в таких пространствах, составлявших реальный мир почти для всей расы людей. Но были и другие, казавшиеся Эндрю неправильными, где присутствовало *нечто* ужасное по своей природе, некая сила, которая не принадлежала этим местам, но свободно перемещалась внутри них... и, как следствие, – внутри него. Именно такие пространства и их постоянное присутствие стали опре-

делять его жизнь, сам ее ход. Ранее у него не было выбора, ибо таков был план человека, породившего его, и он был вынужден этому плану следовать. По сути, весь этот грандиозный замысел зиждился лишь на нем – он, Эндрю Мэнесс, был его *сердцем*.

Его отец знал о существовании подобных мест, к которым Эндрю был чувствителен даже в детстве и где ему предстояло пережить второе рождение под знаком Тсалала. Преподобный Мэнесс знал, что Мокстон был одним из таких мест, одним из аванпостов на поистертых границах реальности. Он сказал, что привез сюда сына ради того, чтобы тот научился оказывать сопротивление присутствию, осязаемому и там, и во всем остальном мире. Он сказал, что привез Эндрю в хорошее место – на самом же деле все было наоборот. Все становилось неправильным, едва принималось во внимание то, *каким* рос его сын. Мэнесс часто повторял, что Эндрю должен посвящать все думы словам из Тсалалова Писания, но те были с легкостью заглушены и узурпированы иными словами в иных книгах, которые ему не следовало читать, которыми, казалось, отец нарочно соблазнил его. Вскоре вычитанное в книгах вызвало у Эндрю ощущение того самого *присутствия*, что могло проявиться в таком месте, как город Мокстон. Были и другие места, где он чувствовал это присутствие. Следуя интуиции, что становилась острее с годами, Эндрю Мэнесс легко определял такие места – иногда по опасности, исходившей от них, а иногда по одному их облику.

Он мог остановиться перед заброшенным домом на пустыре, напоминающим одинокий скелет на свалке костей, и эти развалины представлялись ему храмом, неким подобием природоной святыни, ведущей к тому темному присутствию, единения с которым он так желал, дверью в тот мрачный мир, где это присутствие зарождалось. Невозможно описать те чувства, те бесчисленные оттенки судорожного волнения, что он испытывал, подступая к очередной руине, чьи кривые очертания свидетельствовали об ином порядке мироустройства, истинной природе жизни, так как подобные руины – лишь хрупкие тени, отбрасываемые на землю миром далеким и незримым. Здесь Эндрю ощущал близость с потусторонним, чья воля была обручена с его собственной. Так часто бывает во снах, где человек чувствует себя обладающим фантастической силой, дарующей шанс предвидеть будущее, – в то же время никак не может контролировать эту силу, что легко способна отворить дверь хаосу и превратить любой сон в кошмар.

Это смешение тайны и беспомощности сокрушало его, подобно черному хмелю, и указывало на цель жизни Мэннеса: запустить великое колесо, крутящееся во тьме, и быть распятым на нем.

Но Эндрю знал, что его цель была лишь эхом той, что много лет назад замыслили его отец и те другие, и даже путь к этой цели окончательно оформился его собственным рождением.

6: Спустя почти что век

– Когда я был молод, – рассказывал преподобный Мэнесс повзрослевшему сыну, – я думал, что стал адептом магии древних богов, посланником первейших демонов и святых. Я не понимал тогда, что все эти годы жил просто как хранитель музея, где выставлены божественные статуи... а не как настоятель храма, куда божества нисходят во плоти. И я знал, что богов этих много, что столетие за столетием они сменяли друг друга, по мере того как миры, возносившие им хвалу, рассыпались в пыль. Наверное, любому, кто не ощущал присутствие великой темной силы, что стоит за *всеми* богами, они казались этакой нескончаемой чередой зеркальных отражений – но я ощущал, я чувствовал, *что* затмевает древних богов. Оно было древнее их, таилось у самых истоков. Но к поверхности из своих глубин это чудовище восстало не так уж давно – не больше века назад. Эта великая тень, эта тьма, возможно, всегда господствовала над другими мирами, кроме нашего, теми мирами, что никогда не знали богов порядка и закона. Даже наш мир долго готовился к ее приходу, истончая иллюзию реальности в тех местах, где

этому способствовало наибольшее число факторов. И вот, сквозь такие прорехи, как Мокстон, еще не виданная Тьма хлынула сюда, к нам.

Да, случилось это не больше века тому назад, когда все люди этого мира перестали осознавать присутствие этого нового бога – вернее, антибога, если на то пошло. Никогда оно не было полным, это осознание, и лишь немногочисленные избранные человеческого рода приближались к агоническому состоянию истинного просветления. Я сам шел к нему очень долго. Может, и сомнительна она, истинность моего просветления, если вспомнить об источнике, откуда я получил его. Тем не менее существует определенная традиция просвещения – древний протокол, с помощью которого тайное знание передается людям посредством различных текстов. Благодаря этим инспирированным свыше писаниям, мы можем познать опыт иномира, непостижимый напрямую. Так было и в случае с Тсалалом – хотя созданная мною книга с таким названием и не относится к помянутому мной выше прозрению. Это лишь отражение – да и то преломленное, – идей, что встречал я в тех текстах, где упоминается сам Тсалал.

Конечно же, всегда существовали особые книги – архаичные предания, где намеки на существование великой тьмы творения давались всегда; где описывались чудовища как людской, так и иной природы – как будто в конце концов есть разница! Нечто мрачное и абсурдное издавна обживалось во всех языках этого мира. Порой оно давало о себе знать, бросая тень на любые попытки объяснить тот или иной необъяснимый случай. Эта тень всегда с нами: во всех легендах о призраках или рассказах о тварях, являющихся в ночи, во всех мифах о демонах и обезумевших богах присутствует она, посмеивается над нашим в нее неверием – и этот смех оглашает целые эпохи, целые века. Мы тоже можем его услышать – просто обратившись к помянутым мною историям. Как бы мы ни хотели проигнорировать этот отзвук, как бы ни старались защитить себя, – он все равно звучит и звучит над миром.

Но около века тому назад смех зазвучал еще громче, еще истеричнее, и ты, Эндрю, сам пошел на этот звук, зачистив с визитами в мою библиотеку и упиваясь мрачным торжеством абсурда. Знай – книги, что хранятся там, не содержат никакого тайного знания для избранных, ибо написаны были для всего мира, что перестал чтить богов порядка и закона, усомнился в их существовании и начал все более превозносить абсурд и хаос. Теперь мы оба изучили книги, в которых Тсалал постепенно раскрывался как само ядро нашей Вселенной, даже если их авторы оставались непричастными к явленным им откровениям. Ведь даже это имя взял я у одного из самых искушенных членов ордена готических рассказчиков, у мастера Эдгара По. Вспомни «Сообщение Артура Гордона Пима», описанный там фантастический край, где и люди, и места их обитания состоят всецело из *совершенной черноты*, – антарктическую страну Тсалал. Это ведь одно из самых лучших описаний тьмы, которую никто никогда не видел, литературное открытие бытия без духа и сущности, без смысла и необходимости – не вселенной порядка и замысла, а, напротив, мира, у которого есть лишь один принцип существования – бессмысленная трансформация. Это вселенная гротеска. Вселенная абсурда. И как только я его открыл, то увидел цель: призвать то, что теперь я называю Тсалалом, и в конечном счете воплотить его в материальном мире.

Шли годы, и я встречался с людьми, что были очарованы почти теми же амбициями, и в итоге с их помощью я сформировал Лигу Избранных Тсалала. Те люди были адептами старых богов, что обессилели или погибли из-за появления нового, из-за его неизбежного наступления, которое мы так жаждали ускорить и в котором желали раствориться. Ибо мы признали маску собственных личностей, и единственным утешением в этой потере, извращенным спасением было принять окончательность Тсалала. И для этого необходимой стала женщина, на ее основе мы провели церемонию зачатия. Именно во время этого ритуала мы впервые причастились его, Тсалала, что двигался внутри нас всех и чудесным образом изменял столь многое.

Той ночью мы и не подозревали, что случится нечто подобное. Все это произошло в другой стране, куда более старой. Но то было место, подобное Мокстону, где все проявления этого

мира будто колеблются порой перед глазами, расплываются и превращаются в простой туман. Центральную улицу мы называли улицей Фонарей – они стояли там повсюду, эти светочи в кованых опорах с изящными рожками. Они были просто фрагментами дизайна, оформительского стиля, но нам тогда казались самими очами нашего божества. Один из нас, видный поэт той эпохи, называл их *железными лилиями*. Еще кто-то безвестный сравнил их драгоценный свет с сиянием желтых топазов. Другие языки в других странах не преминули отплатить им цветистой данью – их называли *les réverbères, les becs de gaz*⁸, и они стали загадочным символом целого века, мира, которому впоследствии выпустили кишки.

Именно на этой улице мы сыскали апартаменты для твоего рождения и грядущего воспитания во славу Тсалала. В том захудалом районе почти не осталось жителей, да и те, оставшиеся, покинули его еще до твоего рождения, испугавшись изменений, захвативших улицу Фонарей. Те поначалу были едва заметны: пауки стали класть свои сети прямо на камни мостовой, тонкие пряди дыма, выползая из труб, стелились низко, не поднимаясь к небу. Когда наступила ночь твоего рождения, все стало хуже. Изменилась сама комната, где мы проводили ритуал рождения. Мы читали молитвы Тсалалу всю ночь, стоя вокруг той женщины, что должна была родить Бога. Я ведь сказал, что по факту она была не нашего круга? Нет, то была опустившаяся жительница Улицы, чье тело я и мужчины нашего ордена присвоили на несколько месяцев. Но не думай плохого, мы обращались с ней весьма почтительно все то время, что она была у нас на содержании. Когда наступил час твоего появления на свет, она лежала на полу ритуальной комнаты и кричала сотней разных голосов. Мы не надеялись, что она переживет это испытание. Не ожидали и столь быстрого результата. Почти не чаяли, что связь между ней и Тсалалом установится.

Мы приглашали сам Хаос в мир, прекрасно отдавая себе в этом отчет. Перспектива абсолютного попраения начал опьянила нас. Ты бы знал, с каким мрачным восторгом мы приветствовали все те намеки на старт вселенского кошмара, конца. Но та ночь... та ночь многое изменила. Мы лицезрели что-то, доселе абсолютно непредвиденное, и поняли, что никогда не хотели стать единым с *этим*... уж точно не с тем, что предстало перед нами на улице Фонарей. Когда ты, Эндрю, начал входить в мир через лоно той женщины, Тсалал пошел следом – через все ее тело. Она стала Его семенем, ее плоть лучилась и разбухала в плодородной почве нереальности, которой была та озаренная фонарями улица. Мы посмотрели в окна, уже думая о побеге. Но увидели, что там уже нет никакой улицы, нет никаких домов. Остались лишь фонари, своим грубым желтым сиянием похожие на гнилые звезды. Бесконечные ряды огней, поднимающиеся во всеохватывающий мрак, – можешь себе это вообразить? Все, что поддерживало реальность окружающего мира, кануло. Мы заметили, как наши собственные тела утратили объем, стали как двумерные грубые рисунки – а тело той женщины, семени грядущего Армагеддона, напротив, наливалось густой объемной чернотой... сила и магия Тсалала действовали! И в тот момент, поняв, что не желаем встречи с *таким* чудом, вообще ни с чем из того, что появилось на улице Фонарей, мы отважились на последний, самый отчаянный шаг...

7: Город-остов

Даже во времена Макквистеров, о которых уже никто почти не помнит, Мокстон был городом-остовом. Казалось, во всем нем было не сыскать и одного нового здания. Растрескавшиеся кирпичи, выцветший сайдинг, расползающаяся черепица и линялые навесы были словно унаследованы от каких-то других брошенных зданий, откуда-то еще, из подновленного города, не нуждающегося больше в устаревших материалах. Витрины магазинов здесь были

⁸ «Светила улиц», «газовые сопла» (франц.)

настолько запыленными, что непонятно было, откуда на них еще берется тусклое отражение. Мокстон, со своими кое-как выстроенными улицами, походил на огромную свалку.

Он был скорее *подобием* настоящего города, картонной декорацией для старого сценического шоу, кое-как расписанной выдохшейся акварелью, без заботы о мелких деталях вроде названий улиц и контор, – эти бессмысленные каракули все равно никто никогда не должен был читать. Все настоящее в этом городе было каким-то образом искоренено. Ничто здесь больше не процветало и не способно было повлиять благотворно на повсеместный упадок.

Этот город был неподходящим местом для любого начинания. Даже такие здания, как отель или аптека, не смогли устоять и смиренно приняли тот загадочный облик, что был свойственен всем маленьким конторкам в переулках Мокстона: обувной лавке, где в витрине стояли давным-давно вышедшие из моды образцы, бутику одежды с манекенами, покрытыми вековой пылью и кем-то обезглавленными, ремонтной мастерской, в которой вся сданная техника так и валялась повсюду, покрываясь ржавчиной.

Много лет назад на видном углу Вебстера и Мэйн-стрит открылся кинотеатр, за много десятилетий до того, как над перекрестком этих улиц повесили светофор. Большая неоновая вывеска с названием «РИВЬЕРА» горела до сих пор. Буквы были видны издалека – свет лампочек рассеивал сумрак заката. С наступлением осени в Мокстоне они блекли, их шарм угасал в атмосфере всеобщей иллюзорности. Сейчас, по прошествии лет, когда-то новая «Ривьера» выделялась не сильнее здания старой аптеки Макквистеров через дорогу. Им обоим было предоставлено постоянное скромное покровительство в городе-остове, которому давно уже не требовались ни развлечения, ни лекарства.

Так Мокстон находил компромисс с любыми проявлениями реальности – он был из тех мест, что существуют на периферии всего реального. Иногда не просто дом или улица, но целый город вступал в неназываемую близость с самыми сумрачными сферами бытия, и это был как раз такой случай. Мокстон стал благодатной почвой для нереального и едва ли питал иммунитет к экзотическим поветриям и абберациям. Их уступки в пользу того, какой реальность привыкло видеть большинство, были всего-навсего примирительными жестами, своего рода избирательным принятием. И не требовалось никакого противления строительству кинотеатра или той новой церкви. Любой протест мог напитать новичков смыслом и силой, заполнить их некой *вещественностью*, столь мало присутствующей в городе-остове, где вся власть находилась в ведении бесплотного. Живые жители здесь были не более чем временными надсмотрщиками за редким и драгоценным имуществом, чьи истинные владельцы временно отсутствовали. И все, что оставалось до возглашения *полного* права собственности на эту землю, – лишь посадка одного темного семени и его возвращение на протяжении такого срока, что не имел ничего общего с нашим понятием о днях и часах.

8. Довод дней минувших

Проводя жизнь в Мокстоне и потихоньку взрослея, Эндрю Мэнесс замечал, что отец все чаще впадал в отчаяние, осознавая, что не мог уничтожить то, чему вместе с другими фанатиками дал рождение. Порой преподобный врвался в спальню спящего сына и то ножом, то топором пытался рассечь все укрепляющуюся физическую связь сына с плотью Тсалала. Наутро после этих попыток спальня Эндрю всегда пахла как скотобойня, но на теле его не оставалось ни следа повреждений, а по венам текла свежая кровь, доказывая реальность того, что было вызвано в мир отцом и его сподвижниками.

Случались моменты, когда преподобный Мэнесс в состоянии благоговения и отчаяния выдергивал сына из его сновидений и зывал к нему, поясняя, что он подходит к опасному рубежу в своем развитии, и умоляя его пройти через своеобразный ритуал, что завершится смертью Эндрю.

– Что это за ритуал такой? – недоуменно спросил Эндрю. Но преподобный не смог ничего сказать ему – у него словно отнялся язык. Прошло много ночей, прежде чем они снова заговорили на эту тему.

И вот настал момент, когда преподобный Мэнесс вошел в комнату сына с книгой в руках. Он открыл ее на последних страницах и начал читать. И из слов, которые он оглашал, складывался план уничтожения его сына. Он вывел их своей рукой – то была финальная глава великого труда, документирующего великое множество откровений, касавшихся силы или сущности, называемой Тсалалом.

Эндрю не мог оторвать глаз от книги и напрягал слух, ловя каждое слово отца, несмотря на то, что прописанный стариком ритуал сулил ему гибель – как ребенку Тьмы, как Антихристу, грозящему черной смертью всему живому.

– Но этот ритуал требует участия остальных, – заметил он, когда отец умолк. – Тех, что были с тобой раньше, Избранных...

– Избранных Тсалала, – закончил за него преподобный.

– Тсалала, – эхом повторил Эндрю. – Моего защитника, стража черной пустоты.

– Ты еще не стал им. Я изо всех сил пытался повлиять на процесс, но ты слишком долго пробыл в неподходящем для тебя месте. Ты проходишь второе рождение под сенью Тсалала. Но если ты согласишься участвовать в ритуале, то время еще есть.

– И кто же присоединится к тебе, отец?

После паузы, полной мучительных раздумий, преподобный ответил:

– Из тех, кто еще жив... никто.

– А моя мать?

– Она погибла.

– Как?

– В ходе ритуала, – сознался преподобный Мэнесс. – Таинству твоего рождения надо было ознаменоваться таинством чьих-то похорон.

– Ее похорон.

– Как я уже говорил, этот ритуал до ночи твоего рождения ни разу не проводился. И мы сами не знали, чего ожидать. Но в какой-то момент мы поддались порыву – чувствуя, что это необходимо. Будто всегда знали, что от нас требуется... будто нас вели.

– И что же требуется сейчас, отец?

– Все написано в книге.

– У тебя есть книга, но нет людей. Нет последователей.

– У меня есть моя паства. Они все сделают, если я скажу. Ты должен смириться.

– А если я не смирюсь?

– Тогда уже скоро, – заговорил преподобный Мэнесс, – связь между тобой и Тсалалом станет неразрывной, и все иллюзии жизни в этом мире света познают такую тьму, с коей еще не сталкивались, невиданную и невыносимую. Все, что являлось тебе ранее, – это только слабый проблеск грядущего, мерцающее пламя свечи, с которой начнется великий пожар. Ты всегда восхищался тем, что начиналось, едва ты засыпал, а потом, когда пробуждался, обнаруживал метаморфозы – и чувствовал, что между тобой и их источником существует связь, по которой вливаются в твое существо темные силы. Эта связь вроде как слабеет, ты приходишь в себя, и метаморфозы заканчиваются... но это лишь иллюзия. Ты долго прожил здесь, и твое второе рождение уже началось. Связь с Тсалалом прочна. Куда бы ты от него ни спрятался – он обнаружит тебя. Где бы ты ни остановился, метаморфозы там застигнут тебя – потому что ты Его семя. Как алхимики считали, что восстановить тело целиком можно из щепотки праха, так и Он восстановит Себя из тебя. В любом месте. В любое время. Ты – часть существа, находящегося по ту сторону законов и разума. То, что вырастет из тебя, будет истинной основой всего. Метаморфозы – основа Тсалала, они же – основа всех тел, у которых, как мы веруем, есть

форма и сущность, не замечая, что они постоянно меняются, что они – лишь хрупкие сосуды, которые вечно разбиваются на куски в жестоком водовороте истины.

И это продлится до конца твоих дней. Всякий раз тебя будет притягивать к себе местность, отравленная Тсалалом. Тебя будут привлекать ее ирреальность и шарм упадка, и с твоим приходом она станет меняться. Какое-то время все будет происходить незаметно, пострадают лишь самые малые вещи – их формы станут уязвимы к тем видам преобразований, которые тебе уже хорошо известны. Ты, может, и не обратишь внимания, но другие люди почувствуют, что с их домом... улицей... целым городом... что-то не так. Они будут ходить с обеспокоенным видом, худеть и бледнеть от неизъяснимых тревог, да и сам мир вокруг них начнет рушиться и деформироваться, лишаться реальности – самой нужной им иллюзии. Среди них поползут слухи о неприятных явлениях, увиденных или почувствованных, но притом необъяснимых: мутации низших существ, пульсация жизни в камнях. Таким будет скромное начало хаоса, который в конечном счете поглотит сами звезды – хотя возможно, они и останутся мерцать в великой невиданной тьме. Благодаря близости к тебе, люди поймут, что ты сам являешься источником происходящих перемен, что от тебя исходят все эти импульсы. Чем дольше ты удержишься в таком месте, тем хуже будет. Если ты покинешь его вовремя, то все остановится – изменения не повлекут долгосрочных последствий и конечная точка не будет достигнута. Совсем как игрушки в твоей спальне, преобразованные живые и неживые объекты прекратят метаморфозировать.

– А если я все же останусь? – спросил Эндрю.

– Тогда все сущее вокруг тебя пройдет полный цикл превращений, и будет пройдена точка невозврата. Пока ты будешь созерцать, как внешний вид вещей расплывается, пока на твоих глазах будут чахнуть тела и умы людей, живущих там, процесс придет к своему финалу – распаду всего зримого миропорядка и рождению Тсалала. И если ты не хочешь, чтобы это случилось, – пройди ритуал, пожертвуй собой последнему таинству.

Но Эндрю Мэнесс только рассмеялся над планом отца, и при звуках этого веселья преподобный совсем поник. Подчеркнуто серьезным голосом Эндрю спросил:

– И ты действительно веришь, что тебя без вопросов поддержит паства?

– Да, они проведут ритуал, – ответил преподобный. – Когда заметят, что тут творится, – проведут как миленькие. Их жажда сохранить иллюзию своей жизни превзойдет их ужас от содеянного. Но это должно быть только твое решение – участвовать или нет в ритуале, который предопределит участь этого мира.

9: Собрание в Мокстоне

Все горожане собрались в церкви, построенной преподобным Мэнессом много лет назад. На пост нового настоятеля никто не посмел претендовать, и с последней его мессы не проводились никакие иные богослужения. Здание никогда не было оборудовано электричеством, но освещение многочисленных свечей и масляных ламп, принесенных прихожанами, дополнило свет сероватого дня, который проникал в два ряда простых остроконечных окон в обеих боковых стенах церкви. В углу одного из этих окон паук копошился в паутине, неуклюже орудуя придатками, которые скорее походили на октет вялых щупалец, чем на проворные лапки паукообразных. Несколько раз оттолкнувшись от ловчей сети, странная тварь достигла поверхности оконного стекла и влилась прямо *внутрь* нее. В новой стеклянной стихии она перемещалась уже свободно.

Народ Мокстона попытался отдохнуть перед собранием, но измученный вид людей говорил о том, что покой им только снился. Всего городского населения едва хватило на заполнение дюжины скамей перед амвоном. Кто-то лег прямо на пол, кто-то беспокойно расхаживал

шаркая по центральному проходу меж скамьями. Все выглядели еще более изможденными, чем накануне, во время исхода из города и вынужденного возвращения обратно.

– Все стало еще хуже с тех пор, как мы вернулись, – произнес какой-то мужчина, как если бы это он инициировал сию очевидно бессмысленную и бесцельную сходку, собравшую в одном месте все кошмары обитателей Мокстона. Но вот по всей церкви поднялся гул голосов: несколько человек заговорили о том, что видели этой ночью. Оказалось, целая рать духов зла мешала им сегодня спать.

У кого-то стены в спальне меняли цвет: от обычного розоватого оттенка, спокойного и неброского в лунном свете, до трепетно-люминесцентного зеленого, идущего рябью, как чешуя огромной рептилии. У кого-то шея маленькой куклы стала удлиняться и извиваться в воздухе как змея, пока губы игрушки шептали слова, которые, казалось, были лишены всякого смысла, но, скорее всего, таили в себе что-то отвратительное. Кто-то слышал жуткие звуки из подвала, за дверьми шкафа или чулана, но не смог отыскать их источник. Кто-то из окна наблюдал, как странные вещи творились близ дома, где жил человек по имени Эндрю Мэнесс. Но стоило кому-то попробовать описать, что же они узрели в окрестностях строения, которое они называли домом Макквистера, выходила путаница. Кто-то что-то видел, а что – уж и не разберешь.

– И я это тоже видел, – прошептал высокий бородатый мужчина в шляпе с прямыми полями. – Я видел тьму, но не такую, как ночью или в тени. Она сгустилась над старым домом Макквистера, прямо над ним и вокруг. Такого еще не было в городе... даже после того, как все начало меняться.

– В Мокстоне не было. Но ты видел такое раньше. Да все мы это видели. – Голос того, кто ответил бородачу, шел из какого-то дальнего угла церкви.

– Да, – признал тот, отказываясь от предыдущих своих слов. – Но мы не видим это presently, так, как мы видели, когда вышли за пределы города, когда хотели отсюда сбежать.

– Это была *не просто* темнота, – вступила в общий разговор одна из девушек, морща лоб, будто изо всех сил пытаясь что-то вспомнить. – Это было что-то... другое. Даже не темнота. Что-то *совсем* другое.

– Совсем другое! – возопил вдруг старик, вскочивший с церковной скамьи с горящими глазами. Перед его взором будто возникло некое откровение – но лишь на миг, ибо он тут же поник и опустился на место. Но остальная паства стала обшаривать взглядами дальние углы церкви, где мрак рассеивался лишь трепещущими огоньками множества свечей в лампадах.

– У него было много лиц, – произнес кто-то. – Но все они кружились и путались, все сливались в одно...

– ...а потом была только тьма, – завершил высокий бородач, вновь обретя голос.

Тишина охватила собрание, и слова, произнесенные отдельными людьми, будто растворились в ней, возвращая мокстонцев в убежище их былой амнезии. Но прежде чем из их голов улетучились все мало-мальски отчетливые воспоминания до последнего, одна старуха, миссис Спайкс, встала со скамьи в последнем ряду, где она сидела в одиночестве, – и во всю силу голоса выкрикнула:

– Все началось с того, кто жил в доме Макквистера!

– И долго он там жил? – спросил кто-то.

– Слишком долго! – тряхнула головой миссис Спайкс. – Я припоминаю его. Он старше меня, но выглядит моложе! И волосы у него странного цвета...

– Красноватые, как разбавленная кровь, – молвил один из голосов.

– Тускло-зеленые, будто плесень, – засвидетельствовал еще кто-то.

– Или рыжие, как пламя свечи, – подвел черту третий голос.

– Он жил в том доме, *том самом* доме, много лет назад, – продолжала старая Спайкс. – Еще до Макквистеров. Жил вместе с отцом. Хотя я помню только слухи. Сама я ничего не видела. Однажды что-то случилось. Что-то случилось с городом. Его фамилия Мэнесс.

– Так звали человека, построившего церковь, – сказал высокий бородач. – Он был первым священником в этом городе. Первым и последним. Что же там произошло, миссис Спайкс?

– Я помню лишь слухи. Слишком много лет прошло. Преподобный как-то говорил со мной о своем сыне. Все твердил, что Эндрю собирается сделать что-то, чего не должно произойти, что необходимо предотвратить.

– Но что именно? Постарайтесь вспомнить, миссис Спайкс!

– Я пытаюсь! Я только вчера начала что-то припоминать. Вчера, когда мы все сюда вернулись. Помню, что его отец сказал что-то о той ночи...

– Я слышала, – обратилась к Спайкс молодая женщина, – как вы сказали что-то вроде «Благословенно будет семя, навек посеянное во мрак».

Миссис Спайкс смотрела прямо перед собой. Рукой она слегка постукивала по краю скамьи, как будто пытаясь что-то воскресить в памяти. Потом она сказала:

– Это его слова. Должно быть, именно это он и говорил мне той ночью. И еще сказал, что люди должны что-то сделать, но что именно, – об этом никто никогда не говорил. Это касалось его сына. Что-то странное... никто не понимал его. И никто ничего не стал делать. Когда его привели домой, его сына там не было. Он как в воду канул. По слухам те люди, что тогда проводили преподобного, что-то видели в этом доме, но не могли ничего внятно объяснить. Все помнили только то, что в ту ночь зазвонили колокола на церковной башне. Там-то Мэнесса и нашли. Он повесился. До приезда Макквистеров все боялись подходить к его дому. Потом все вроде как забыли о том, что там случилось.

– Точно так же, как мы не могли вспомнить, что произошло вчера, – сказал бородач. – И почему вернулись сюда – мы ведь этого совсем не хотели! Эта тьма у нас перед глазами... никакая это была не тьма, а что-то большое, кишачье изнутри, оно заслонило все небо!

– Может, нам показалось, – робко предположил старик, много лет кряду содержащий в Мокстоне аптечный киоск.

– Всем сразу? – усомнился бородач.

– Не показалось, – покачала головой миссис Спайкс. – Это из-за него. Напоминание всем нам, что творилось тут со времени его прибытия, обо всех тех маленьких переменах, от которых становилось только хуже. Оно надвигается – как буря. Мы видели, как оно прибыло в город и зависло над домом Макквистера. На наших глазах все начало катастрофически изменяться. Скоро придет и наш черед. Скоро станем меняться мы. После этих слов паства оживленно загудела на все лады. Все спорили, не в силах решить, нужно ли что-то предпринимать, и если нужно, то что.

Пока жители Мокстона взволнованно роптали при свете лампад, за окнами церкви постепенно темнело – неестественные сумерки пожирали серый полдень. И слова людей, как и многое другое в Мокстоне, начали меняться. В голосах смешались и нарастающие вопли ужаса, и невнятный, бормочущий призыв. Вскоре самые высокие ноты голосов упали, а потом и вовсе исчезли – над ними взяли верх более глубокие заклинательные тона. Теперь вся паства повторяла одно и то же слово, словно загипнотизированная: «Тсалал, Тсалал, Тсалал». А за алтарем возвышался тот, кто дирижировал этим песнопением – мужчина, чьи волосы странного цвета сияли в мерцании свечей и масляных ламп. Наконец-то он вышел из дома, где пробыл слишком долго. Колокол в башне зазвенел, дрожа под темными сводами, – и резонансная какофония голосов заполнила церковь. То были голоса людей, что жили в проклятом месте уже не первый год, – голоса города-остова.

Фигура у алтаря воздела руки перед паствой, и та затихла. Когда его взгляд замер на пожилой женщине, сидевшей в последнем ряду, та встала и прошла к главным воротам церкви. Мужчина распростер руки – и, повинаясь этому жесту, старуха распахнула врата.

И взглядам паствы предстала главная улица Мокстона – но была она уже не та, что прежде. Тьма покрыла ее, и виднелся лишь ряд фонарей – уходящий в бесконечность, как

и сам окружающий мрак. Виднелись сполохи неоновых вывесок, снова и снова возникало из небытия мерцающее название кинотеатра, будто отражаясь в галерее черных зеркал. Все эти яркие останки города, изломанные трансформацией куски становились все тусклее, все более уродливыми, источая сияние в пожирающую их темноту, а та лихорадочно множила осколки мира, собирала в собственном калейдоскопе, чьи цвета были столь густыми, столь разнообразными, что они сливались, исчезая в черной целостности.

Тот, кто построил церковь, собравшую всех, заговорил о кульминации. Она неумолимо приближалась. И тогда паства пошла навстречу мужчине у алтаря, но тот уже шел к ней. Они больше не испытывали страха, эти жители города-остова, достигнув таких границ существования, где не играли роли ни страх, ни форма, ни сущность. Это была уже не их жизнь, но лишь форма существования Тсалала.

Их взгляды были прикованы к тому, кто являлся воплощением тьмы, кто пришел к ним, чтобы поставить печать на своем договоре с тем существом. Они ждали от него слова или жеста. Они хотели, чтобы он сказал, как им соединиться с тьмой и стать частью потустороннего inferнального апокалипсиса.

И в конце концов, будто следуя прихоти момента, он поведал им, что нужно сделать.

10. Чтобы помнили

Слухи, ходившие потом в Мокстоне среди местных, носили довольно причудливый характер. Говорили, что однажды страшная буря, длившаяся всю ночь, загнала жителей города, всех до единого, в церковь, и та спасла их крепостью стен, достойно выдержавших испытание непогодой. Кто-то попутно припоминал, что перед бурей творились какие-то мрачные чудеса, поистине необъяснимые преобразования – хотя многие ссылались на них как на просто необычные природные явления.

Подробности так и остались неясны. Казалось, никто не мог вспомнить, кто жил в старом доме после Макквистеров. А кроме миссис Спайкс, никто с жильцами и словом не перемолвился, хотя и та едва ли что помнила; вскоре после того страшного урагана она умерла от рака. Одно время в доме жили родственники Рэя Стантса, но они давно покинули Мокстон. Да и в любом случае то был не единственный дом в Мокстоне, оставленный жильцами. С тех пор, как натиск бури миновал, никто не заходил в церковь. Ее двери закрыли от непрошенных посетителей и заколотили – старые замки никто не проверял с тех пор, как преподобный Мэнесс погиб, повесившись в церковной башне.

Но если бы кто-то отважился зайти внутрь, он, несомненно, нашел бы то, что после себя оставила та буря. Ибо на алтаре церкви возлежал раздавленный скелет мужчины, чье имя никто уже не мог вспомнить. Переломанные кости были дочиства обглоданы, пестрели вмятинами от зубов, разгрызавших их. На них не осталось ни фрагмента плоти, и нигде на полу церкви невозможно было ее сыскать, ибо то была плоть чужака, что жил в этом месте слишком долго, непозволительно долго. Мужчина тот был лишь его семенем, но теперь то семя было посеяно в таком месте, где не смогло бы прорасти.

Жители Мокстона похоронили его плоть глубоко в земле своих истощенных тел, насытив их сполна.

И теперь лишь несколько волос необычного цвета можно было найти на полу церкви – посреди вековой пыли.

Безумная ночь искупления

История о будущем

Еще раз с начала; еще раз до конца. Все вы знаете, кем был доктор Фрэнсис Хаксхаузен и сколь сильно его пропажа потрясла научное сообщество. Когда один из лучших ученых мужей земли свернул активную деятельность, все как-то смутились и встревожились. А когда стало ясно, что даже бывшие коллеги могут более не рассчитывать на его разъяснения по различным насущным вопросам, кое-кто даже запаниковал. О род людской! Расхаживая по сияющим новизной лабораторным многоэтажным комплексам, светила в длинных белых халатах с печатью беспокойства на лицах тихо, как в церкви, обсуждали уход выдающегося наставника. Слухи множились, становясь все причудливее, но как бы ни были подавлены иные отсутствием доктора Хаксхаузена, не меньше них обеспокоил и его внезапный возврат.

Доктор сильно изменился. Пожимая руки старых друзей, он улыбался им с теплотой, совсем не присущей ему ранее. «Я много где побывал», – объяснял он, хотя где именно – не уточнял. Какое-то время все следили за доктором Хаксхаузенем, надеясь стать очевидцами некоего откровения – или по меньшей мере утечки информации, что пролила бы свет на случившееся с ним; оставалось лишь нервно ждать и уповать на оную. Вскоре, впрочем, неутешительный вывод напросился сам собой: бедный доктор сошел с ума от долгих лет напряженного служения своему призванию. Впрочем, оставался шанс на его поправку – в конце концов, доктору удалось избежать ограничений, которые чаяли наложить на его свободу и родственники, и знакомые. По-своему это сходило за достижение здравого ума – потому как доктор Хаксхаузен боролся за свою свободу по какой-то очень веской причине, и для осуществления будущих планов ему требовалась именно воля, а не разум.

Почти год он работал уединенно, втайне, в старом пустом фабричном корпусе, что стоял на краю поля за много миль от ближайшего города. Здание он превратил в настоящий научный музей. Разношерстная экспозиция Хаксхаузена могла похвастать как самыми передовыми инструментами науки, появившимися уже даже после его исчезновения с радаров, так и предметами, относящимися к более ранним историческим периодам, экстрагированным из культур, не познавших технического прогресса. Распаковав несколько сосудов странной формы, украшенных клинописью и дикарской примитивной росписью, доктор нашел им место на стенде среди других изящных ваз, сделанных из практически невидимого стекла. Затем, собрав нечто похожее на водоотвод или телескопическую трубу, он пристроил сей элемент на опреленный, как яйцо в скорлупу, в металл системный блок компьютера.

Еще более экзотическая утварь дожидалась своего часа в коробках и ящиках: котлы, реторты, маски с широко распахнутыми ртами, перегонные кубы, мехи всевозможных размеров, старые колокольчики, звенящие мертвыми голосами, ржавые скрипящие клещи, большие песочные часы, маленький телескоп, сверкающие клинки и тупые ножи, длинные деревянные вилы с двумя отполированными до блеска зубцами; миниатюрные бутылочки из очень толстого стекла с пробками в виде человеческих либо же звериных голов, свечи в резных подсвечниках цвета слоновой кости, яркие бусы, прекрасные выпуклые зеркала из совершенного серебра, золотые чаши со сложными узорами и крылатыми фразами, огромные книги с хрупкими страницами, черепа и кости; куклы из сушеных овощей, марионетки из воска и дерева и сработанные из неузнаваемых материалов болванчики. Еще был там неглубокий ларь, из которого доктор Хаксхаузен изыал овальный приплюснутый самородок, полупрозрачный, с легкой рябью, похожий на опал, переливающийся целым спектром мягких оттенков. Все это было собрано им не просто так – каждому предмету было уготовано место в задуманной доктором установке.

Ясно было, что его представления о науке совершили невероятный скачок – правда, предстояло еще разобраться, в каком направлении: далеко вперед или далеко назад.

Несколько месяцев кряду доктор работал с иступленной прилежностью, без тени тревоги и сомнения, будто следуя какому-то predetermined плану гарантированного успеха. Постепенно его детище стало формироваться из хаоса разнородных материалов, объединенных воедино революционной новаторской мыслью. Наконец результат трудов Хаксхаузена возвысился на холодном и пыльном полу пустующей фабрики, и доктор, окинув его взглядом, явно удовлетворился увиденным.

Непосвященному творение это могло показаться не более чем причудливой грудой, на худой конец – арт-объектом, рожденным незаурядной фантазией. Рваный металл, что оплетал кряжистый каркас, дико ветвился во всех направлениях. Казалось, всему – или почти всему – из коллекции доктора нашлось тут место. Из темных впадин в хаотичной структуре аппарата выглядывали лица кукол и марионеток – этакие притаившиеся детки с недобрыми ухмылками на лицах. Включенные в тело изобретения, их карликовые формы перемешались с его схематехникой; одни только эти фигуры своим присутствием могли вызвать сомнения в практичности творения ученого. Но, как уже должно быть очевидно, эксцентричность машины не ограничивалась парой-тройкой кукольных голов.

Однако же как минимум одна деталь изобретения подразумевала некое конкретное приращение – длинная черная труба, выступающая из механизма, подобно изготовившейся к атаке кобре. Однако там, где у кобры были бы глаза, у этого механизированного дракона наличествовала одна-единственная впадина, в которую был помещен полированный диск, переливающийся красивым многоцветьем. Когда доктор Хаксхаузен вдавил кнопку пуска на пульте дистанционного управления, который сжимал в руке, темный зверь из металла и пластика воздел голову и нацелился куда-то вверх, на грязное потолочное окно. Годами оно было наглухо закрыто, но в ту ночь распахнуто усилиями неутомимого ученого. Лунный призрачный свет окутал старую фабрику и устремил луч в опалесцирующее око машины доктора Хаксхаузена. Позже, когда зверь будто бы насытился сиянием луны, его создатель уверенно щелкнул выключателем на пульте – и свечение, переработанное в горниле робота и там же как-то преобразованное, устремилось назад к своему источнику, потоком зловещих цветистых струй извергаясь в космический мрак. Один случайный свидетель позже описал явление властям как «жуткую ночную радугу». Сам же доктор назвал свой рукотворный феномен «священным лучом».

Первый этап проекта был успешно завершен. Доктор Хаксхаузен наконец покинул свою уединенную лабораторию. Его изобретение вместе с кое-какой другой утварью было загружено в фуру для перевозки наемными рабочими. Теперь не составляло труда возить машину по городам и весям и выставлять перед всяким жаждущим ее узреть. Именно на это доктор и рассчитывал. Отказавшись от безвестности и нарушив обет тишины, он снова открыл себя миру. Широкая огласка не прибавила откровениям ученого в цене, пусть кое-кто и отдавал печальную дань уважения былой славе его тонкого ума. Но общественное мнение волновало доктора в последнюю очередь. Цели своей он в любом случае добился – миру было уготовано откровение, и начало было положено. Поэтому доктор не устал путешествовать по миру. На арендованных площадках во многих городах демонстрировал он мощь своей машины и нес весть тем, кто хотел ее услышать.

– Добрый вечер, дамы и господа! – начинал он типичное выступление в типичном обедневшем театре в очередном городе. Стоя в гордом одиночестве на сцене, доктор одет был в старомодный темный костюм. Будто подчеркивая мнимую формальность наряда, он дополнил его официальным галстуком-бабочкой. Волосы доктора, пусть отросшие до риска неухоженности, были уложены и расчесаны. Очки в темной оправе смотрелись на изможденном лице чересчур большими – за год Хаксхаузен сильно сдал в весе. Грубые линзы блестели в огнях рампы. Фигура ученого отбрасывала гигантскую ломаную тень на потертый занавес позади.

– Некоторые из вас, – продолжал он, – возможно, знают, кто я такой и почему я здесь сегодня вечером. Остальным, надо полагать, будет интересно узнать, что стоит за теми слухами и газетными статьями, что курсировали в последнее время в вашем городе и обсуждали всемирно известного доктора Хаксхаузена. Как многие важные события в истории человечества, мое творение было весьма точно описано с парадной стороны, но, к сожалению, так и осталось непонятым по своей сути. Так позвольте же мне развеять все сомнения, что могут в той или иной степени предопределить ваши мнения и выводы.

В первую очередь я хотел бы отметить, что не претендую на роль Творца или Его воплощения на земле; во-вторых, хочу также сказать, что во время моих путешествий, во время моего так называемого отсутствия, Создатель открыл мне глаза на некоторые вещи и наставил на истинный путь. В-третьих, я действительно являюсь тем самым доктором Хаксхаузенем, а не самозванцем. В добавление к вышесказанному замечу: демонстрация моя не является пустой причудой, бессмысленным научным фарсом, как многие желают думать. Я просто прочитаю вам небольшую лекцию и покажу в работе созданное мной устройство. Ни при каких обстоятельствах это не причинит вреда никому из вас, иначе, навредив детям божьим, я нарушил бы высший Его закон. Вот и все, что я хотел сказать, прежде чем начать показ, который, надеюсь, заинтересует и просветит всех вас.

Начну, пожалуй, с пересказа одной легенды – особо подчеркну, что это всего лишь легенда, услышанная мною в походе, устное предание и ничего более. Жил да был один чародей – или ученый, если угодно, – мечтавший изменить мир и создать искусственного человека, существо, лишенное всех недостатков и неудобств человека естественного, неустанно накапливающее знания и мудрость, сколь угодно долго живущее; словом, идеал, ориентируясь на который, сам род людской стал бы чище, лучше и ближе к спасению. Как и все идеалисты, чародей полагался сугубо на интуицию и мало думал о глобальных последствиях. Все свои знания и умения бросил он на создание этого «нового человека». Поначалу из простых материалов, дерева и воска, изготовил он физическое тело, причем не какую-нибудь там нелепую куклу для чревоутопления. А потом же, посредством алхимических операций, вдохнул в это замечательное подобие тела замечательное же – увы, в самом роковом смысле – подобие жизни. Не растративая ни секунды на триумф и празднования, стал чародей обучать нового человека тому знанию, что позволило бы ему существовать и развиваться и после смерти его создателя. Но Господь Бог вскорости стал осведомлен о планах чародея, и разгневали они его.

Поэтому однажды детище чародея, совершенное, умное, но все же – непоправимо и безнадежно инфантильное, проснулось посреди ночи и услышало проклинаящий его глас свыше: *«Ты есть богохульство и страшнейшее извращение!»* Глас приказал чародейскому чаду подняться на чердак, где располагалась тайная мастерская, и там, среди дьявольских манускриптов и сомнительных механизмов, узрело оно поверженного своего создателя – повешенного на стену, словно Пьеро в подсобке кукольного театра. Полы темного чародейского плаща мели пыльный пол, голова его безвольно болталась на шее поникши. Движимое лишь отчаянием, ошеломленное, его дитя взглянуло в лицо отцу – и оказалось, что вырезано это лицо из дерева, что более оно – не живая плоть, а восковая отливка. В исступлении от увиденного, великолепное создание оборвало свою жизнь, повиснув в петле рядом с создателем, – таков был рок, настигший чародея.

Доктор сделал паузу, невозмутимо достал из нагрудного кармана платок и промокнул лицо от пота, выжатого теплом мощных софитов. Потом окинул взглядом зрителей. Их ряды так и лучились равнодушием – но то был лишь вопрос времени. Затем он продолжил.

– Кому же ведомы пути Господни? Людской промысел отличен от Божьего – и какой же вывод следует из легенды о чарорее, если принять это утверждение неоспоримым? Я в свою очередь могу сказать, что чародей, вознамерившись создать идеал бесконечной добродетели, преступил некий фундаментальный закон, встав на ложный путь. Почему, спросите вы? Все

просто. Чародей не сумел сберечь свое дитя от гибели – не как от возможности, но как от самой *судьбы*. Именно этим своим упущением он и прогневал Господа, очернил пути его. Именно осознание Высшего Промысла и привело меня сегодня сюда. Только поэтому стою я сейчас перед вами. Пусть и раньше посещали меня божественные видения, жизнь моя, как оказалось, была лишь подготовкой к этому часу, неосознанной охотой на истину посредством случайных научных открытий. И вот теперь я понимаю – я *готов* к тому, чтобы принять предложенное мне знание.

Поймите меня правильно: я провел почти всю свою жизнь как ученый в методичном безрассудном стремлении к совершенству, движимый мечтой об утопии, идеей, что я действительно внес свой вклад в земной рай в процессе *создания*. Но постепенно, мало-помалу, я начал замечать определенные вещи. Я заметил, что механизмы, встроенные в саму систему реальности, сводят на нет *все* наши достижения в этом мире, перенаправляя их в скрытую лабораторию, где эти так называемые триумфы полностью обесцениваются, если не превращаются в формулы общечеловеческого фиаско. Я заметил, что есть высшие силы, которые работают *против* нас и одновременно *при помощи* нас. С одной стороны, мы стремимся открыть жизнь вечную, несмотря на неохотное признание необходимости смерти. С другой стороны, все, что мы открыли, служит лишь цветистыми одеждами для прикрытия неизбывных ран, полученных в ходе истории познания. Теперь я вижу, что совершенство никогда не было первичной целью, равно как и поиски потерянного рая в прошлом или же будущем. Наша истинная судьба – распад.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.